

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ РАССКАЗ

Валерий Кулешов
(г. Щекино Тульской области)

«ВЫСКАЗЫ»



Родился в 1949 году в деревне Паленка Становлянского района Липецкой области. Учился в Московском энергетическом институте и Липецком филиале Московского института стали и сплавов, служил в Советской Армии. В 1987 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Печататься начал с 1969 года в газетах «Молодежь Якутии» и «Ленинское знамя» (г. Липецк). Стихи публиковались в журналах «Приокские зори», «Петровский мост» (г. Липецк), «Молодая гвардия», «Юность». Автор книг стихов «Власть огня», «Зерна боли», «Мера времен», «Плоть песни», «Корни слова», «Часть света», «Память чувств» и других. Лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова и региональной премии им. Л. Н. Толстого. Член Союза писателей России и Союза журналистов. Валерий Кулешов известен как поэт. Его стихотворения, в том числе и поэма «Зов», публиковались на страницах нашего журнала. Сегодня мы публикуем его прозу. Это — миниатюры, или как их назвал сам автор, — «высказы». Надеемся, они найдут отклик наших читателей.

ШТРАФНЫЕ БАТАЛЬОНЫ

Праздники он любил, особенно этот — 9 мая.

Готовились к нему заранее — основательно, со списками гостей и закусок. Благо, деньги водились: на знаменитом автозаводе, где он уже лет двадцать стоял у конвейера, «на карман» выходило нормально. Так что хватало хозяйке и на «коммерческий деликатес».

А вот напитки в магазине, известном на всю округу почему-то как милицкий, — закупал сам. Мужики, и теснившиеся в очереди, и «соображавшие» у входа, вопросов не задавали, но смотрели — с уважением. Понимали человека. Не ждал он их и от жены, когда шел назад, по-своему — с вывертом выбрасывая вперед правую ногу. При этом, избавившись от костылей еще в конце сороковых, ступал уверенно. Твердо — как печать ставил.

Гостей приходило не то чтобы много, но человек двенадцать-пятнадцать собиралось. В основном, родные и в тот день как-то по-особенному близкие. С некоторых

пор приглашалась и бывшая жена его — с его же сыном и снохою. Случалось, бывали и соседи по коммуналке. Но главным гостем все же была она — Победа. Определившая жизнь каждого из них, объединявшая их всех в этот день.

В выпивке — не стеснялись, но чтобы до дури... нет, до этого не доходило. Пили и за Победу, и за погибших, правда, поименно никого не поминали, в том числе — и капитана-артиллериста, отца единственной дочери хозяйки, так и не успевшего стать ей мужем... Поднимали рюмки и за хозяев, и за присутствующих. Пели и песни, но немного. В основном те, которые, казалось, были всегда. Как полагается, и веселье, и шум постепенно стихали, особенно ближе к концу застолья.

Когда же гости по большей части расходились — с поцелуями и объятиями, с частую необязательными обещаниями — вот тут-то и наступало оно, его время — то самое: личное, сокровенное. Он доставал пластинку, «на всю катушку» врубал радиолу и, распахнув окна, уходил на кухню. Курил, опершись локтям о подоконник, прищурившись, всматривался куда-то вдаль, будто стремясь вслед за песней:

*Считает враг: морально мы слабы,—
За ним и лес, и города сожжены.
Вы лучше лес рубите на гробы —
В прорыв идут штрафные батальоны...*

И что-то, почти неуловимо, менялось: не только в нем самом, но и вообще — вокруг. Но он не замечал этого, как и припозднившегося гостя, случайно оказавшегося поблизости, и мелькнувших в дверях собственных комнат соседей. Все куда-то отодвигалось, делалось несущественным, каким-то ненастоящим. Ведь и хозяйку свою, снующую с посудой, — не замечал.

Впрочем, и ее, ставшую неожиданно молчаливой, отрешенной, даже какой-то возвышенно строгой, как будто и не было здесь. Куда она уходила, где была, о чем думала в эти минуты — неизвестно. Да и не спрашивал никто. Оставляли — со своим...

А в распахнутые окна вновь и вновь выплескивалась песня. И над двором, над улицей, над всей этой неостановимой, но на мгновения неслышной жизнью все шли и шли они — штрафные батальоны:

Считает враг: морально мы слабы...

Он мотал головой, скрипел зубами, и плакал. Кстати — раны свои он получил в первом же бою, и Победу — впервые встретил в госпитале.

ВЫСКАЗ

Это настигло его, едва он, хлебнув воды, вернулся в постель. Накатившая как бы ниоткуда волна — легкая в своей тяжести и светлая в своей глубине — накрыла его и, подхватив, вознесла. Вознесла, и — понесла...

Осознавая всю бессмысленность сопротивления, он поначалу попытался пусть и не отринуть ее, лишь сохранить некую малую, но такую важную часть самого себя. Тщетно. Весь, без остатка, он уже был там, где и должен тогда быть. Да и как иначе, если зов души и ее отзыв уже являли собой единое целое.

Прошив пространство, в иное время окунулся он. И далекая жизнь приблизилась, оборачиваясь в настоящую. Он вошел в нее, и она пришла в движение, зазвучала, брызнув красками. Как бы сама собой стремительно обретала она при этом словесную плоть, делалась выпуклой, осязаемой, и в то же время — прозрачной, сквозной... Такой, что он уже мог выразить ее, казалось, в самом ее естестве.

На мгновение отпрянув от открывшегося, он решил было подняться, чтобы удержать, закрепить и эту жизнь, и себя в ней. Но вдруг отчетливо понял: нет, такое — уже никуда не уйдет. И, улыбаясь, уснул.

Утром, за один присест записав все так же ясно звучавшее в нем и взглядевшись в

то, что впитал в себя этот невесомый по сути листок бумаги, он без особого удивления признался себе: «А ведь что-то тут есть...». И вдруг, по достоинству оценив свой первый опыт в прозе, испугался: «Это что же теперь: прощайте, стихи?!..».

И весь день, весь день эта пугающая мысль не отпускала его. Как дальше без них — он, проживший едва ли не все свои семьдесят в их стихии, себе не представлял.

А уже ночью, почти в то же самое время, что и накануне, резко проснулся. И тут уж хочешь — не хочешь, — пришлось вставать.

Стихотворение, записанное его рукой, начиналось так: «Я прошел по земле...».

Но другое продолжало держать его. Приняв произошедшее как откровение, он силился уяснить себе: какого все же рода-племени его «Батальоны...». Рассказ? — Ну, уж нет. Этим понятием написанное никак для него не определялось. Новелла? Эссе? Очерк, наконец?.. Нет, и еще раз нет.

«Рассказ, рассказ... рассказывать... пересказывать... высказ... Стоп! Высказ...». И — к Дало. К Владимиру Ивановичу — за советом. И тот, как всегда, не подвел. Ну, конечно же — высказ! В смысле — высказать, сказать все, что знаешь, что на душе...

«Как точно... как же хорошо...». Этим и успокоился.

СТУПЕНИ

Поскользнулся он — на первой же ступени: сразу, лишь собираясь принять ее под ногу.

По все мыслимым и немислимым земным законам старик должен был «отметиться» на каждой из четырех, а то и просто — рухнуть вниз. А уж там, в этом месиве из снега и льда, грязи и воды, попытаться собрать кости. Если, конечно, было бы кому собирать... Ан — нет: вот он — стоит себе, живой и здоровенький. На своих двоих — стоит!

С опаской переставляя ноги, старик двинулся в сторону — поближе к свету. Но чувство неуверенности не отпускало и там. «Ну, да... очки...» — он понял, что сняв еще при входе в магазин (запотевают — не разглядишь ничего), так и не вернул их на место. Закурив, но отбросив сигарету уже после двух затяжек, еще какое-то время постоял в раздумье.

«Это что же получается: двумя путями с единого маху прошел?.. Н-нда... Скажешь кому — не поверят. А себе — чего уж врать. Даже матюгнуться не успел...», — усмехнулся невесело.

И в самом деле: раздвоение реальности — вот что не только ощутить, но и постичь успел он тогда. Прожить и пережить одномоментно, замкнув на себя время, и падение, и спуск — оставаясь на ногах, похоже, единственно возможным образом.

Долго, проходя привычным маршрутом, делая покупки — причем, и те, на которые и не рассчитывал, не мог отойти он от случившегося. А когда уже поднимался к себе на четвертый этаж — неожиданно легко, почти не ощущая тяжести — и своей, и покупок, вдруг вспомнил мальчика. Того самого, из магазина с ненормально крутыми ступенями.

Это ведь он, объявившись как бы ниоткуда, раскрыл перед стариком дверь, придерживая ее, пока тот выходил. Вспомнилось, как совсем не по-детски прозвучало «пожалуйста» в ответ на несколько растерянное «спасибо». Столь же серьезен был и внимательный взгляд мальчика, оставшегося стоять у дверей, когда старик шагнул на ступени. Пройдя свой путь до точки, но еще не начав выходить из нее, старик сумел принять этот взгляд во всей его полноте.

Поддерживая, он вел его и поближе к уличному фонарю. А вот ни глаз, ни лица мальчика вспомнить так и не получалось. Лишь строгая фигурка в зеленой курточке...

«И правильно, что не матюгнулся...», — неожиданно подумал старик, доставая входные ключи.

ЧЕЛОВЕК — ЧЕЛОВЕКУ

Поздоровавшись, он, было, уже проходил мимо, но что-то остановило его. Будто споткнулся...

— Еще раз привет, Володь,— пожав протянутую руку, присел рядом на шаткую скамейку.

Скользнув взглядом по своему сверстнику, отметил: «Постарел...».

Вот и дом — сгорбившийся, глядящий в землю, в оспинах по штукатурке, с побитыми местами до дыр, давно почерневшим шифером крыши,— тоже...

Резко дернул лицо в сторону — к солнышку над беспорядочными кустами.

— Погодка-то сегодня...

— Угу...

Помолчали.

— Ну, как ты, Володь? Тут, значит, живешь?

— Тут. Да где ж еще...— тот устало покачал головой, как бы утверждая ответ.

— Один?

Для порядку спросил, ведь ясно было и так. Вот и бывший однокашник глянул удивленно: мол, о чем это ты...

— А как же эта... как ее... Ну, продавщица которая?..

В ответ — лишь слабое, бессильное движение руки.

— И давно?

— Давно...

Помолчали.

— Ну, а ты как? В отпуске?

— Да уж вторую неделю...

— Там все... в Туле?

— Там, там...

И опять — тишина: лишь солнышко по легкому ветерку. Совсем как тогда — тыща лет тому...

И разом вдруг ощутив это, они оба как бы очнулись, воспряли, почувствовав неожиданную, казалось бы невозможную в сей час близость друг к другу, даже в чем-то свое родство.

— Послушай, Володь. Ты это — главное не унывай... Жизнь — она такая, зараза... Знаешь, каждого по своему молотит...

И, еще не до конца осознавая, что говорить-то больше не о чем, что все уже, по сути, и сказано, решительно поднялся.

— Бывай...

Положив руку ему на плечо и слегка тряхнув его, будто помогая сохранить их общее теперь чувство, это пробуждение, шагнул в сторону. И, уже уходя, незаметно для себя почему-то убыстряя шаги, услышал негромкое, приглушенное, посланное ему в спину:

— Спасибо тебе, Валер...

Продолжая держать на себе неловкую тяжесть услышанного, медленно обернулся:

— Да за что?!..

— Что поговорил со мной...

Слезы текли по его лицу.

«Боже мой... Боже мой... Это какую же жизнь надо было успеть прожить, чтобы вот так... вот так...»,— сокрушенно все думал и думал он. А уже подходя к своему родительскому дому, вспомнил сказанное когда-то его сотоварищем по литературному цеху: «Человеку нужен — человек...»

Прав был товарищ. Знал, о чем говорил.

ВЫСОКИЕ ВИШНИ

Какие же это были вишни! Ах, какие... Он таких — с роду не видал.

И в самом деле: в деревне, где, по сути, и рос у деда с бабушкой, за двором — лишь куст смородины. Которой, впрочем, вызреть не удавалось, ибо обрывалась еще зеленой, едва успев пообещать отдельной ягодкой свою спелость, — одним бочком, к солнышку обращенным.

Была, правда, еще бузина. Вот эта, обсыпанная, — буйствовала всюю. Да толку-то... Есть-то ее — было нельзя.

А вишни — они там, где мамка с папкой, — в «тимесе», в остатках старого сада, где на месте бывшей барской усадьбы и располагалась МТС — машинно-тракторная станция, где жили и работали родители мальчика и куда они, от случая к случаю, могли на время забрать его. Как и в этот раз.

Исхитрившись, он поймал-таки веточку и подтянул к себе ягоду, каким-то чудом еще уцелевшую внизу. Вку-усно!.. Но больше поблизости таких не было, даже спрятавшихся за листиками. Задирая голову, мальчик поискал их выше... еще выше... И вот там — на головокружительной, недостижимой высоте — их было много.

Не зная, что делать, он какое-то время постоял в недоумении. По всему выходило, что надо было лезть на дерево. Но как, если на такую верховину он никогда еще не забирался... А вишни — манили к себе, и не столько обещающей, уже распознанной, вкусенной, еще не забытой сладостью, сколько высокой недостижимостью своей. И это было — куда сильнее.

Доверившись непонятному, новому для него чувству, мальчик начал подъем. И старое дерево — откликнулось на это, помогая ему где прочным еще сучком, где просто выступом коры. И вот он уже там, куда и стремился.

Устроившись на ветке, которая будто и ждала его, мальчик огляделся. Вишни — вот они, одна к одной, как на подбор: крупные, наливные, вызревшие почти до черноты. Ах, какие это были вишни!.. Они легко лопались, обдавая соком язык и небо, щедро даря неведомую доселе сладость, которая растекалась, чудилось, по всему телу мальчика.

А он, еще не насытившись, еще не напивавшись высокой радостью, вдруг остановился. Что-то было не так, что-то было неправильное во всем этом. Ну, конечно: такие вишни никак нельзя было есть одному. Ими обязательно надо было делиться, они — и для других. Уверившись в своей догадке, мальчик торопливо принялся обрывать ягоды, отправляя их за пазуху.

Спускаться оказалось куда сложнее: приходилось крепко обнимать дерево, где-то скользить по его корявому стволу, обдирая руки и колени. Но он не обращал на это внимания, это не волновало его. Уверенный, что все делал и делает так, как надо, мальчик спешил к маме — на работу, в контору того самого «тимеса».

И он — не ошибался. Непонятные ему растерянность мамы, промелькнувшие на ее лице и гнев, и обида куда-то исчезли, когда мальчик, придерживая у живота влажную тяжесть под рубашкой, шагнул к ее столу: «Это — тебе...».

И что-то как будто смахнуло, куда-то унесло все улыбки и смешки находившихся рядом, разом посерьезневших женщин, когда мама, просветлев разгладившимся лицом, молча погладила его по голове.

А рубашку ту — новую, белую — на него никогда уже не надевали. Но запомнил он ее — на всю жизнь.

КАРЯБАЧКА

Что-то, а вот хлеб — он всегда носил с собой. Нужен он ему был — и все тут.

Когда надо, рука сама ныряла в карман: отщипывала кусочек, который долго по-

том размягчался во рту, рассасывался от исконной кислинки до потаенной живительной сласти. Принимая ее, казалось, всем своим естеством, Валентий (как прозвал дед для удобства, так и прилипло...) чувствовал себя уверенно, бодро.

Вот и опять, не нашарив и хлебных крошек, а они — сухие, колючие летом и влажные, липкие зимой — выгребались чуть ли не все, завернул к родной избе.

— Чего тебе... водицы, хлебушка?.. — пропустив мимо скрип двери, откликнулась на его просительное «Ба-а?!» выглянувшая из чуланчика перед загнеткой — устьем печи — бабушка Арина.

Правильно растолковав смущенное молчание и протягивая кружку с водой, по привычке уточнила:

— Карябачку, небось?..

Проводив внука, какое-то время постояла в раздумье, будто вспоминая что-то. И, улыбнувшись чему-то своему, вернулась к неизменным, неотложным делам.

Хлеб в ту пору, слава Богу, в деревне уже не переводился, даже у Ларкиных, где одна мать тщила пятерых — мал мало меньше. Бывало, усадив свою ораву перед огромной миской со сваренной на воде картофельной похлебкой, запроваженной ложкой постного масла, она отрезала ломоть и Валентию. Все на слободе знали: этот — хлеб любит. И как-бы даже по-своему уважали его за то.

Всякий он перепробовал, да только лучше своего — не было. И не потому, что бабушкин, а потому — что правда. Вроде и мука одна и та же — ржаная, и печки одни и те же — русские, а поди ж ты... Все так, а хлеб — разный.

Вкуснее всего, конечно, горбушка. Особенно когда из нее повыковыриваешь мякиш, оставив лодочкой одну корку — сладко-коричневую, ласково-гладкую, всегда почему-то теплую на ощупь. А уж если горбушка от лопнувшего в печи каравая — та самая карябачка!.. Тут уж — слов нет. Кому доводилось есть такое — тот и без того знает, а кто не пробовал — тому не объяснишь. Бесполезно.

Нету теперь того хлеба. И вряд ли он когда здесь будет.

Одно только надо сказать. Хлеб тот удивительным каким-то образом сохранялся сам в себе, в своей самости в любой состоянии: что прямо из печи, не успев толком остыть, что черствый, что став сухарем. Вот ведь как...

Долго потом Валентий, далеко ушедший от той незабвенной поры, давно утвердившийся в своем настоящем имени, пытался разгадать свою загадку: неодолимая тяга к «черняшечке» — на всю жизнь ведь осталась.

Простой оказалась разгадка. Хлеб заменил ему — так случилось — материнское молоко: нажевывала бабушка, завязывала в тряпицу, в узелок — вот и соска...

На хлебе вскормился человек. Потому он для него — и насыщенный.

НАЧАЛО И КОНЕЦ

Жила-была девочка. И нравился ей мальчик — из соседнего класса.

Как, почему нравился — она не знала. Хотя и не таким словом определялось, наверное, то чувство, которое переполняло ее душу, толкало на странные, нелепые для окружающих поступки. Просто было в этом мальчишке что-то такое... родное, настолько близкое, что притягивало, понуждало выплескиваться ее душевное тепло.

Вот и опять, едва завидев его в школьном дворе, она устремилась наперерез.

— Да иди ты... Пусти! — как мог, чуть не плача, пытался отбиться он от ее рук и губ.

— Ната-аша... Дочка! — строгий голос остановил ребячью возню.

Заправив под шапочку выбившиеся волосы девочки и поправив ей воротник, женщина крепко взяла ее за руку.

— Ну, и чего ты к нему прилипла... — как бы продолжая давно начатое, она тяну-

ла дочь за собой, незаметно для себя убыстряя шаг.— Ты погляди, погляди на него: замухрышка, смотреть не на что...

А то — и правда. Рослая не по годам, справненькая, вся какая-то светлая, милая — и не только ей, матери, но и другим людям — девочка уже сейчас обещала многое. Женщина усмехнулась, вспомнив взъерошенного мальчишку: «Это надо же, чисто воробышек... мокрый...».

«Все равно... ну и пусть...» — отворачивая в сторону лицо, твердила себе девочка. Что за этим стояло, куда вело — на эти вопросы ответить было некому. А ведь что-то — стояло...

Лишь много-много лет спустя, вся ее долгая-долгая жизнь, уже готовившаяся обрести цельность, по-настоящему открылась ей.

Становясь явным, все более и более живым, проступил и он — ее сын: такой желанный, но так и не рожденный (что уж тут: Господь — не дал...). Она увидела его, казалось, во всей полноте, и потянулась к нему, остро осознавая, что это он и есть — именно тот, который столько раз представлялся ей в ее надеждах. Вот только лицо его...

Собирая свои очертания откуда-то из далекого далека, проясняясь, оно было — иным. Не чужим, нет, но каким-то другим — словно из забытья. И при том — тем самым: верным, истинным.

Это испугало ее, заставило собраться, напрячься изнутри. И не отпускало, пока видение, наполнившись жизнью, не обрело, наконец, устойчивую четкость, пока весь облик его — тот самый, издалече, из начальных времен — не высветила улыбка, ниспосланная — ей.

— Во-она как... — только и успела произнести.

Уронив на одеяло уставшие прибираться руки, она все быстрее и быстрее отходила туда — к своим.

КРЕСТ

— Осторожно! Двери закрываются...

Немного поерзав, поудобнее устраиваясь на вагонном диванчике и вновь порадовавшись, что место досталось и жене, и ему, он вернулся к себе. «Крутить стихи» под ритм колес — привычное, доброе дело еще с юности, с первых студенческих лет.

«Пошли» они и теперь — пока неясные, в смутных очертаниях, едва высвечиваемых вспышками далеких, пока не обжигающих искр. Но уже казалось, что еще чуть-чуть, и вот оно — заветное, единственно верное слово, взяв которое, ощутишь во всей полноте всегда неповторимый сладкий ожог необъяснимого чуда. Казалось, вот-вот... и...

Но что-то мешало прорваться, взойти посеянному в слове свету. Что-то незнакомое, непонятное старалось подавить наметившиеся было ростки. С тревожным изумлением поэт вдруг ощутил, как это — доселе неведомое, враждебное — растекаясь по нему, добираясь чуть ли не до каждой клеточки, опустошает не только душу, но и тело.

Он просто терял силы.

Не понимая, откуда исходит злая воля, которая, сгущаясь, все плотнее застилала уже и весь свет белый, он неловким, немощным усилием попытался найти, определить его. Чтобы встретить — лицом к лицу...

И сразу, едва подняв голову, наткнулся на сидящего напротив пассажира. Невзрачный мужичок в бывалой одежде толи дачника, толи грибника с расплзшимся по полу возле ног просторным рюкзаком, слегка улыбаясь, с ласковой хитрецей глядел на него.

И это был — взгляд хозяина.

Две волны сшиблись, разом накрывая поэта. Но своя — жаркая — успела принести весть... Как мог, не осознавая своих действий, он бросил в супротивника образ креста, ниспосланный ему оттуда же, откуда и приходили стихи. И тот, опешив, отшатнулся в испуге, неспособный сопротивляться такому.

Снова и снова, со все большей и большей возвращаемой себе силой впечатывал, вбивал он в чужое, уже угасающее, животворящий крест...

«Добить, что ли...», — неожиданно для себя подумал поэт, выходя вслед за женой из вагона. Но взглянув еще раз на поникшего, скукожившегося пассажира, решил: «Нет! Слабак...»

Не стал он ставить на нем креста. Зла — уже не было. Оставалось пустое, ничемное существо, бывшее когда-то человеком.

ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ

Евгению Ивановичу Трещеву...

День — звенел весной. Пробившись сквозь оттаявший шум, все увереннее всходили ожившие голоса. Подвластные уже большому, уже достаточно окрепшему солнцу, они поднимались все выше и выше, перерастая — в небесные звоны.

Надежда всходила над землей. И казалось, что она — для всех. Казалось, что именно так и определил ее Тот, кто непостижим. Тот, кто распорядился: пребудет свет...

Так оно и было. Звоны множились, отзываясь в людях: во всем их облике, в устремлениях, во всех движениях их. Вот и детский лепет, взрываемый залиvistым, просторным смехом, был принят всеми и понятен всем.

Невольно приняла, усвоила его и эта женщина — привлекательная, еще статная, все еще уверенно несущая остатки былой красоты. И вдруг — что-то будто надломилось в ней. Проходившая мимо с младенцем на руках молодая мать, вся погруженная в свет, сама излучавшая его, была — не от мира ее. Так много было этого света, настолько он был нестерпим...

Поникшая, с размытым слезами, потерянным лицом, увлекаемая хозяйственной сумкой, женщина шмыгнула вслед за своей тенью.

Продолжил путь и случайный свидетель времен и сроков. И шагнул было в сторону солнечного звона. Но тут же — спохватился: а ведь ему — уже не туда... Усмехнулся, качнул головой — и пошел. Куда ж денешься...



Александр Петренко
(г. Краснодар)



ЭНОЛОГ

Литературный псевдоним — Александр Ралот. Публиковался во многих российских, белорусских, ближнего и дальнего зарубежья периодических изданиях, а также в «Приокских зорях». Член Союза писателей России. Победитель многих российских, зарубежных и международных конкурсов. Лауреат литературной премии имени Олега Бишарева. Награжден медалями: Золотой Есенинской, им. И. Бунина, им. М. Ю. Лермонтова, Андрея Белого, А. Т. Твардовского, «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе», имени генерала Брусилова.

В нашем доме нечасто, но иногда случается. Сегодня ждем гостей — четверть века не виделись. Так уж случилось, что лихие девяностые развели не только по городам, но и государствам. Чем же угостить иностранцев, познавших за эти годы вкус самых элитных и изысканных напитков Европы. Стою и рассматриваю содержание бара. К сожалению, не обзавелся я хранилищем коллекционных вин, стоящих состоянии. Но и в этом «погребке», если порыться, отыщется что-нибудь этакое.

* * *

Рука без команды из мозга извлекает на свет божий бутылку Калифорнийского вина из знаменитой долины Напа! Главного винодельческого района штата, да и всей далекой страны. Купил на выставке за немалые деньги. Для особого случая. Будет теперь украшением праздничного стола. Взял тряпку, чтобы стереть пыль с раритета и с удивлением обнаружил собственноручную надпись на этикетке: «Андрей!!!» Да, да, именно так, три восклицательных знака. Видать, что-то важное хотел подчеркнуть. Беру бутылку и спешу к компьютеру.

* * *

Наверное, предполагал написать об этом человеке. Но что? Роюсь в «авгиевых конюшнях». Чижевский и лампа. Нет, не то. Челюскин, льды. Тоже не подходит. Черняховский. Обязательно напишу о нем. Но позже. Стоп! Вот оно! Вчитываюсь в старые записи, и как это ни банально звучит, окружающий мир на время исчезает!

* * *

Подпоручик, еще мальчишка, только что окончивший офицерскую школу в Екатеринодаре, умирал. Из последних сил пытался руками закрыть раны от пулеметной очереди. Подобно литературному герою лежал на холодной, насквозь промерзлой земле, покинутый однополчанами. О чем он думал? Уже не узнать! О разграбленном

родовом поместье? О безжалостно повешенных породистых охотничьих собаках? Или о расстрельном списке, в который семья Челищевых внесена в числе первых...

Его командир, до начала эвакуации, успел известить отца о гибели сына.

Но судьба распорядилась иначе.

* * *

— Ваше благородь, поглядите, кажись, живой.— Бородатый казак склонился над Андреем.— Точно! Дышит! Идите сюда, сами послушайте. В лазарет бы свести. Бог даст, гляди и оклемается. Ведь пацан почти. Поди не целованный ище.

Бесчувственного воина отряхнули от снега и, прищипорив коней, повезли в город.

Красная армия стремительно наступала. Остаться на полуострове было опасно. И Челищевы, всей семьей, отправились в Турцию. А некоторое время спустя перебрались в тихую Чехословакию. Там сын Андрей, едва оклемавшись от полученных ран, поступил в университет городка Брно. Хотел стать медиком, но, в одночасье, передумал и перевелся на агрономический факультет. Решил специализироваться на виноградарстве и виноделии. И выбранной профессии уже не изменял до конца дней.

Прошли годы. Дипломированного энолога направили в высшую школу винодельческой науки, во Францию. Молодой специалист начал трудиться на знаменитых предприятиях Бургундии и Шампани.

* * *

— Позвольте представиться! Латар. Бизнесмен. Владелец крупного хозяйства в долине Напа. Правда, в прошлом.

Профессор оторвал взгляд от книги и посмотрел на посетителя.

— Что значит в прошлом? Если разорились, то финансовые дела не по моей части.— Хотел было откланяться, но американец удержал.

— Вам, вероятно, известно, что в нашей стране отменили сухой закон. А это значит, в Соединенных Штатах можно и необходимо заниматься виноделием. Уверяю, рынок сбыта колоссальный. Необходим высококлассный специалист. Улавливаете ход моих рассуждений?

— Насколько мне известно, господин эээ, бизнесмен, ваши виноградники заброшены! Пребывают в полнейшем запустении! Если вообще не вырублены! Винокурни! Нет слов! Оборудование заржавело. Зачем вам высококлассный энолог? Сделайте милость, потратьте капиталы и недюжую энергию на восстановление того, что сами же так бездарно порушили. На это потребуются годы, если не десятилетия. Уж я-то знаю! Засим, имею честь...

Однако гость умел быть убедительным. Разговор затянулся до ночи. В результате профессор порекомендовал напористому заокеанскому гостю лучшего ученика. Предупредив при этом:

— Единственным недостатком молодого человека является то, что он не потомственный винодел, да к тому же еще ни капельки не француз. Скажу больше. Эмигрант из далекой России. Этот факт не смущает?

* * *

Челищев в те годы не только сотрудничал с фирмой, производящей знаменитое на весь мир шампанское, но и проводил собственные научные исследования в Институте имени Пастера. Предложения о трудоустройстве в других странах поступали к нему регулярно. Ученый отказывал всем. Каким образом сумел убедить Ан-

дрея заморский работодатель, мне доподлинно не известно. Однако уже осенью того же года Челищевы переехали на новое место жительства, в далекую Калифорнию.

Залитая беспощадным солнцем долина Напа представляла собой унылое зрелище. Десяток влачащих жалкое существование хозяйств выжили лишь потому, что их продукция с разрешения властей использовалась в местных церквях для причащения. Из хилых гроздьев, конечно же, получалось только скверное вино.

Видеть такое после шале юга Франции нестерпимо. К тому же работа в долине никак не соответствовала уровню парижского ученого, успевшего создать себе имя в отрасли. Вдохновляло лишь то, что на этих землях можно было внедрить новое — СВОЕ.

* * *

И пошло-поехало. Понадобился не один год, дабы научить местных виноделов азам гигиены и микробиологии. Организовать поставки из старого света знаменитого французского дуба для производства бочек. С этим сразу возникли проблемы. Началась вторая мировая война. Тут уж стало не до торговли. Отыскал аналогичные, американские. Создал микробиологическую лабораторию в городке Сент-Элен.

Не было и дня, чтобы русский не проводил эксперименты. Скрещивал местные сорта винограда с европейскими. Внедрял французские технологии, но не один к одному, а творчески, с оглядкой на почвенно-климатические особенности местности.

На винозаводах стала применяться техника холодного брожения и молочнокислой ферментации. После чего в продукте исчезла вяжущая терпкость. Итогом этой работы стал новый сорт калифорнийского винограда, наподобие знаменитого Каберне. Материал вызревал в специальных бочках, изготовленных из деревьев, росших в лесах новой Родины.

Челищев был уже стар, когда владельцы фирмы, в которой он трудился не один десяток лет, продали ее крупной компании, специализирующейся на выпуске ликеров.

Остается только одно! С высоко поднятой головой уйти на заслуженный отдых. Но винодел не сделал этого. «Пока я могу двигаться и думать, буду работать!»

В семидесятые годы минувшего века Челищев с учениками объезжал винодельческие хозяйства Бордо. В это время в Париже проходила представительная франко-калифорнийская дегустация. И вина из Напа в честном бою победили местный премьер-крю.

В шато, где остановились заокеанские гости, позвонили:

— Информация для маэстро Андрэ.

Американский чиновник шепотом, с придыханием, произнес:

— Только что объявили результаты голосования. Победили ваши каберне и шардоне.

— Не говори никому,— ответил энолог.— Французы расстроятся. А мы же у них в гостях.

Но уже через двадцать минут в автобусе делегация устроила триумфатору бурную овацию!

В Калифорнии это победа вызвала экономический бум. Новые винодельни появлялись ежедневно. Его наработки передавались от одного шале к другому. А вина начали закупать официальные поставщики Белого дома и Капитолия.

* * *

Я заметил, что все еще держу бутылку в руках. Поставил на стол и взял пожелтевший буклет. «Выставка «Андрей Челищев — основатель современного виноделия Калифорнии». Дом русского зарубежья на Таганке. Партнеры: Сельскохозяйственный отдел Посольства США в Москве и Мосгордума. Планируется, что экспозиция после Москвы будет развернута в Париже, а затем в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Далее шел список спонсоров. Одна фамилия заинтересовала — Алексей Голицын. Несколько щелчков по клавиатуре и я с удивлением уставился на экран.

«Племянник Челищева и дальний родственник князя Льва Голицына».

Конечно же, того самого, знаменитого владельца виноградников Крыма и Новороссийска, умершего в нищете и продавшего за долги винзавод «Новый Свет».

Впрочем, как говорит наш известный актер, это уже совсем другая история.

* * *

Вернул раритеты на место. Посмотрел на рукопись. Нужно что-то добавить? Только это! Какие имена русских эмигрантов остались в истории человечества? Вертолеты Сикорского, телевидение Зворыкина! И, конечно же, калифорнийское вино Андрея Викторовича Челищева!



Петр Любестовский
(г. Сельцо, Брянская область)



РАССКАЗЫ

Родился в 1947 году на Смоленщине, в деревне Любестово, в семье фронтовика. Окончил Звенигородский финансовый техникум и Калининский государственный университет. По образованию юрист. Служил в ВС и в МЧС. Подполковник в отставке. Публиковался в еженедельниках «Литературная Россия», «День Литературы», в журналах «Молодая гвардия», «Север», «Дон», «Искатель», «Странник», «Приокские зори», «Сельская новь», «Молоко» («Молодое око»), «Нана», «Огни над Бией», «Милиция», «Воин России», «Пограничник», «Наша молодежь», «Фантастика и детективы», «Иван-да-Марья», «Ковчег», «Зона риска». Лауреат и дипломант международных и всероссийских литературных конкурсов. Автор десяти сборников прозы. Член Союза писателей России и Союза журналистов России.

МЫ ЖЕ РУССКИЕ ЛЮДИ

Директор небольшой мебельной фирмы Игорь Петрович Костин, офицер-отставник лет пятидесяти пяти, решивший попытать счастья в бизнесе, уже с самого утра изрядно устал. Последнее время дела фирмы складывались неудачно: то качество сырья низкое, то перебои с комплектующими, то фурнитура ненадежная. И, как следствие, выработка готовой продукции снизилась, спрос на мебель упал.

Директор всячески стремился в короткий срок исправить положение. Он вставал чуть свет, вызывал машину. Едва успевал выпить чашку кофе, как «Ауди» уже стояла у подъезда.

— На износ работаете, Игорь Петрович,— предостерегал шефа водитель.

— Ничего, Серега, на том свете отдохнем,— мрачно шутил Костин, стараясь держаться бодро.

С раннего утра директор обходил все производственные участки, дотошно вникал в производственный процесс, проверял качество продукции, следил за параметрами приборов, за производственной дисциплиной. Нерадивым работникам давал накачку:

— Сам разорюсь и вас по миру пушу, если не будете отдаваться работе.

Метод закручивания гаек давал определенные результаты. Однако Костин понимал: чтобы кардинально изменить положение дел, надо срочно переходить от дедовских методов к современному производству. А это значит — вкладывать солидные финансовые средства в строительство нового производственного корпуса, в новое автоматическое оборудование. Словом, перевооружать производство, вводить новые мощности и благодаря этому добиваться высокого качества продукции. Меж тем средств катастрофически не хватало, и директор вынужден был взять очередную ссуду в банке под высокие проценты. Теперь необходимо было проследить, чтобы каждый рубль, вложенный в дело, окупился сторицей.

Почувствовав усталость, директор решил немного отдохнуть — поработать с документами. Костин прошел в офис, поднялся в кабинет, предупредив секретаршу:

— Марина! Ко мне пока никого.

— Хорошо, Игорь Петрович. Сейчас принесу кофе и свежую почту.

Костин тяжело опустился в кресло, задумался. Вошла Марина — поставила на стол чашку дымящегося кофе, аккуратно сложила прессу на край стола и тихонько удалилась.

Костин сделал несколько глотков кофе и, взглянув на письма, остановился на одном из них. В письме шла речь об оптовой закупке офисной мебели. Настроение мигом поднялось, спал груз усталости. Напевая легкий мотивчик, Костин переключился на областные газеты. Отдельные только полистал, другие пробежал глазами.

Добрался до старшей газеты — патриарха областных СМИ. Он полюбил ее еще с той поры, как молодым лейтенантом был направлен на службу в военный гарнизон неподалеку от областного центра. Уважал за принципиальность, за неизменную нравственную позицию, за близость к простым людям. Костин был глубоко убежден, что настоящая газета должна чувствовать людскую боль. На таких принципах всегда держалась русская журналистика. Недаром же еще Александр Герцен считал, что она есть «не врач, но боль».

Ныне любимая газета переживала нелегкие времена. На рынок средств массовой информации хлынул поток низкопробной печатной продукции, смакующей все, что пахнет жареным, играющей на низменных чувствах читателей. Его же избраница, как бедная интеллигентная женщина, знающая себе цену, и в горьком унижении не роняла своего достоинства. Костин, как мог, поддерживал газету: давал рекламные объявления, посылал для публикации праздничные поздравления своего коллектива, поощрял лучших работников фирмы подпиской на газету.

Всех журналистов газеты Костин узнавал с первых строк, не заглядывая в конец статьи, где стояла подпись автора. С некоторыми из них был знаком лично, других знал только как читатель, но уважал тех и других — все были профессионалами своего дела. На второй полосе в глаза бросился очерк Таисии Крестинской «Не различайте нас с мамой». Это была корреспонденция из тех, что раньше выходили под рубрикой «Письмо позвало в дорогу». Очерк захватил Костина, и он с головой ушел в чтение.

В редакцию пришло письмо от молодой женщины из деревеньки Соколя Гора, давно забытой богом. Женщина жаловалась на бездушных чиновников, которые хотят отнять у нее детей за то, что они живут в нищете. Это был крик погибающего человека: «Муж в бегах — скрывается от алиментов, сама бьюсь, как рыба об лед, но не могу свести концы с концами. Работы в селе нет — колхоз давно распался. Доход от домашнего хозяйства с гулькин нос, пособие на детей мизерное — на хлеб не хватает. Хата прохудилась, одежда поизносилась, а чиновники вместо того, чтобы оказать помощь, собираются отобрать детей, которым нечего есть. Но разве я виновата, что оказалась в столь плачевной ситуации?! Неужели им неведомо, что ныне так или почти так живет пол-России?!»

Корреспондент газеты выехала в Соколю Горы и ознакомилась с положением дел на месте. В публикации сообщалось, что факты, изложенные в письме, нашли свое подтверждение. Женщина не пьет, ведет небольшое хозяйство. Бывший муж алименты не платит, местонахождение его неизвестно. В старой ветхой хибаре поддерживается относительный порядок. Трое детей одеты в латаную, но чистую одежду и худые настолько, что насквозь светятся. Чиновники действительно проверяли положение детей, угрожали матери забрать их и направить в приют.

Зацепила Костина эта статья — чуть слеза не прошибла. Сам он выходец из села, родился в трудную послевоенную пору и не понаслышке знал, что такое нужда. Отец рано скончался от фронтовых ран, и мать в одиночку тянула свой нелегкий воз —

поднимала четверых детей. Игорь был старшим, и едва подрос, стал помогать матери — подрабатывать подпаском. А позднее — пахал, сеял, косил и стоговал сено каждое лето наравне со взрослыми. Когда приходилось неделями голодать — выручали соседи. Кто блинков даст, кто хлеба горбушку, кто картошкой поделится, кто кружку молока нальет. Особой жалостью отличалась бабка Арина — видя голодные глаза детей, сама не съест, а их накормит. Урожай соберет — часть выделит соседям за помощь. На всю жизнь запомнил Игорь, как простыл, провалившись в полынью, тяжело заболел, и бабка Арина спасла его растирками и сиропом из кускового сахара. Мать, бывало, всплакнет: «Как я с тобой, Семеновна, рассчитывать буду?». А она в ответ: «Успокойся, Ульяна! Мы же русские люди и должны помогать друг другу. Иначе нам не выжить».

В военное училище Игоря Костина провожали всей деревней. Бабы плакали, напутствовали парня: «Хотя бы тебе, старшему, повезло выбраться из нищеты. Тогда и других выгатишь». Повезло. Училище окончил с отличием и всегда добрым словом вспоминал своих душевных земляков. Потом, когда уже крепко встал на ноги, хотел собрать всех за общим столом, сказать им теплое слово. Но было поздно — неперспективная деревенька приказала долго жить: старики померли, а молодежь покинула отчие дома...

Костин встал, нервно заходил по кабинету, о чем-то напряженно думая. И вдруг решительно шагнул к столу, нажал кнопку внутренней связи:

— Марина, срочно вызови Сергея.

Не успел Костин как следует обдумать свое решение, на пороге уже стоял водитель.

— Слушаю вас, Игорь Петрович.

— Вот деньги,— протянул ему несколько крупных купюр шеф,— срочно поезжай в универмаг. Купи три комплекта детской одежды на три, семь и девять лет. Двое последних — мальчики, малышка — девочка. Куртки, брюки, рубашки, платица, спортивные костюмы, кроссовки. А еще — продукты: хлеб, сыр, колбасу, пельмени, тушенку — все качественное. И обязательно сладости: конфеты, печенье, пирожное, вафли, лимонад. Возьми себе в помощь Лену Гусакову из планового отдела. Жду тебя через пару часов.

Не прошло и двух часов, как Сергей докладывал шефу:

— Игорь Петрович, задание выполнено. Машина наполнена под завязку. Все качественное, по моде и со вкусом. Куда прикажете доставить?

— Поехали,— сказал Костин и на ходу бросил секретарше:

— Марина, все вопросы к заму. Буду к вечеру.

Стояла ранняя осень. За окном машины пронеслись деревья, одетые в нарядный убор. Проплывали серебристые паутинки бабьего лета, цеплялись за придорожное былье. «Много паутины — добрый знак. Осень будет ядреная»,— вспомнил Костин слова матери. На дальнем поле ярко зеленела свежая, молодая озимь. На опустевших лугах виднелись высокие стога. Рядом с дорогой, на голой стерне, золотились копны пшеничной соломы. Среди них разгуливали стаи журавлей, собирающихся в дальнюю дорогу.

В Соколей Горе гости без труда отыскивали старую деревянную хибару: журналист описала деревню так, что ошибиться было трудно. Тропинка к избе пролегла через высокий колючий бурьян. Водитель подъехал почти вплотную к хате, поднялся на крыльцо, постучал в дверь. На стук вышла хозяйка, довольно молодая, но с легкой проседью на висках. Озабоченным взглядом широко распахнутых глаз она посмотрела на гостей. На лице мелькнуло удивление, быстро сменившееся страхом. «Наверное, приняла нас за тех, кто грозился отнять детей,— подумал Костин.— На мою мать в молодости похожа — русская статья, гордость, красота, несмотря на невзгоды».

— Мир вашему дому! Вас, кажется, Людмилой зовут? — шагнул к крыльцу Кос-

тин.— Не пугайтесь — мы к вам с добром. Узнали, что вы попали в сложное положение и хотим вам помочь, если вы, конечно, не против...

Хозяйка удивленно вскинула брови, некоторое время молчала. Похоже, комок застрял в горле.

— Проходите в дом,— наконец взволнованно произнесла она.

— Сергей, открывая багажник — доставай подарки,— распорядился шеф.

Водитель стал вынимать сумки, пакеты, коробки и осторожно складывать на лавочках у крыльца. Хозяйка стояла на крыльце в окружении ребятни, словно вкопанная. По ее впалым щекам текли слезы. Костин смотрел на ее худенькое лицо, на грубые пальцы, то нервно теребящие концы платка, то поглаживающие волосы дочурки, и думал о ее нелегкой доле.

— Ну что же вы стоите? Помогайте,— обратился к детям гость.

Дети посмотрели на мать, и та в знак одобрения кивнула головой. Ребята тотчас несмело подошли к сумкам, стали таскать их в хату. Подарки сложили на старом проваленном диване, неподалеку от печки. Часть коробок разместили на полу. Прежде чем распаковать их, Костин окинул взором внутреннее убранство избы.

Из всех углов на гостя смотрела своими грустными глазами бедность. Несколько табуреток, кровать с панцирной сеткой, старая детская кроватка, источенный сундук, стол в святом углу — вот и вся мебель. На стенах — желтые фотографии. На потолке пятна подтеков, половицы прогнулись, подоконники покосились.

Когда вышли на крыльцо, Костин спросил у хозяйки:

— Есть ли поблизости добротный дом на продажу?

— Вы, верно, под дачу ищите? Тогда в поселке на центральной усадьбе посмотрите кирпичный дом. Там старенькая учительница жила. Дочь забрала ее в город. Узнав о продаже дома, администрация выкупила его, а теперь задумала продать. Говорят, что дорого просят, но я уверена — покупатель найдется. Место там красивое — бывшее дворянское поместье, старинный парк с вековыми деревьями, живописное озеро. Думаю, вам понравится.

— Поедем, Сергей,— позвал водителя Костин. И обратился к хозяйке:

— Мы не прощаемся. А вы пока продолжайте распаковывать сумки, доставайте продукты и вещи, угощайтесь, примеряйте обновки.

В пути Костин упрекнул водителя:

— Ну что же ты, Серега, ничего хозяйке в подарок не подобрал?

Тот в недоумении посмотрел на шефа.

— Игорь Петрович, так мы же вели речь только о детях.

— Ладно,— улыбнулся Костин,— будет подарок и хозяйке...

Несколько часов спустя иномарка вновь мчалась в Соколюю Гору по проселочной дороге. В поле было тихо и покойно. От пестроты красок осеннего дня, от бордовой вечерней зари, что догорала далеко на западе, от запаха горькой полыни, что врывался в окно машины с прохладным воздухом, было немного грустно и в то же время легко на душе. Костин поймал себя на том, что давно не испытывал такого приятного состояния. Хотелось остановить машину и остаться здесь на весь вечер и на всю ночь. Но надо было спешить, чтобы успеть в деревню до темноты.

У знакомой избы шофер нажал на тормоза. Все семейство высыпало на крыльцо встречать добрых волшебников. Ребята были в обновках.

— Ну вот, какие вы нарядные и еще более красивые! — сдерживая волнение, восторженно произнес Костин.— А коль так, собирайте свои пожитки и едем в ваш новый дом. Там уже все готово для приема новоселов.

Людмила сразу ничего не поняла, а когда до нее дошло, что гость интересовался новым жилищем для нее, она решительно отстранила детей и, не помня себя, бросилась Костину в ноги:

— Господи милостивый, уж не с неба ли вы свалились? Назовите же свое имя,

чтобы я знала, за кого мне теперь молиться до конца жизни,— сквозь слезы произнесла она.

— Ну-ну,— остановил ее Костин, обняв за плечи.— Вот этого не надо. Да и имя не обязательно. Мы же русские люди и должны помогать друг другу...

По весне, когда дела мебельной фирмы резко пошли в гору, Костин открыл свежий номер любимой газеты и на развороте ему бросился в глаза заголовок заметки «Мы же русские люди!»

«Уважаемая редакция! Пишет вам женщина, о которой вы написали осенью в статье «Не разлучайте нас с мамой». Может, мое письмо покажется нескладным, потому что я очень волнуюсь — столько всего на меня свалилось за последний год. Хорошего. У меня теперь есть свой добротный дом. Местного вдовца с ребенком приняла в семью. Надежный человек. Не пьет, работает. О детях заботится. Живем дружно. Недавно родилась доченька — моя прекрасная принцесса. Назвали ее Таей, в честь вашей журналистки Таисии Крестинской, благодаря которой мне смогли приобрести дом, мебель, одежду для детей, продукты на зиму. Хочу через газету донести слова благодарности и низкий поклон до замечательного русского человека большой души, который проявил равнодушие и принял живое участие в моей нелегкой судьбе, подарив мне прекрасный дом, а вместе с ним — веру в людей. Я не знаю его имени — он даже не представился. Просто сказал: «Мы же русские люди и должны помогать друг другу». Дай бог ему и всем моим благодетелям здоровья и благ земных и небесных. Спасибо большое от меня и моих детей вашей замечательной газете».

С глубоким уважением, Людмила Ивушкина.

ПОЕЗДКА НА МАЛЮЮ РОДИНУ

Иномарка птицей летела по Киевской трассе. Пронеслась и уплывала вдаль вереница придорожных столбов, мелькали поля спелой ржи, разноцветье люпина и клевера, березовые перелески, речушки в оврагах, заросших осокой, черемушником и ивняком. Все это было до боли знакомо Игорю Скрементову — офицеру-подводнику, мчащемуся на свою малую родину на всех парусах.

Свой отпуск он намеревался провести с семьей на берегу Черного моря. Врачи настоятельно советовали жене отвезти дочку-пятиклассницу к южному солнцу. Из-за дефицита тепла и света на Севере ребенок часто болел, прицепилась какая-то редкая аллергия. Да и ему с женой полезно было погреться на морском песочке, искупаться в целебной морской воде, подзарядить изголодавшийся организм солнечной энергией. А на обратном пути Игорь хотел навестить мать в деревне, погостить у нее с семьей несколько дней, помочь старушке подготовиться к зиме.

Уже накануне отъезда на юг Скрементов получил письмо из деревни. Мать писала, что здоровье сильно пошатнулось, одолели хвори, по дому передвигается с трудом. И за помощью обратиться не к кому — деревня опустела, осталось всего несколько хат, в которых коротают свой век одинокие старики. Жить стало страшно — в округе появились банды. «Приезжай, сынок, поскорей. Каждый день для меня теперь как год. Хочу перед смертью повидать всех вас...», — слезно умоляла мать.

Игорь переговорил с женой и внес коррективы в семейные планы: он отвезет жену и дочь в Сочи, а сам помчится к матери. Надо убедить ее перебраться в Североморск. Если старушка, как и раньше, будет стоять на своем — «на кого же я оставлю могилу твоего отца?», то перевезти ее в ближайший поселок, поближе к людям, найти надежного человека, который будет присматривать за ней.

В пути Игорь думал о матери, о ее нелегкой доле. Вспомнился случай из детства. Однажды летом, в разгар сенокоса, они с отцом, инвалидом войны, заготовили пару возов сена на болотистых лужайках, среди лозняка и крушины. Председатель колхо-

за, узнав об этом, велел бригадиру изъять сено, скошенное в недозволенном месте. Когда колхозная бригада грузила сено на тракторный прицеп, мать плакала горячими слезами, умоляла не оставлять детей в зиму без молока, не обрекать их на голодную смерть. Отец тогда не выдержал и прикрикнул на нее: «Прекрати, Татьяна. Нечего унижаться». И подойдя к бригадиру, твердым голосом сказал: «Зря трудишься. Все равно придется вернуть сено семье фронтовика». В тот же день он отправил письмо в Москву, в центральный комитет партии. Спустя месяц сено было возвращено, причем, с солидной добавкой, и председатель колхоза лично извинился перед отцом — кавалером ордена Красной Звезды. Игорь тогда был школьником, и после смерти отца поклялся себе, что никогда не даст мать в обиду. Но вот сейчас матери плохо, а он не знает толком, как ей помочь, как облегчить ее участь...

Как ни гнал машину Игорь, но к городу подкатил уже в полночь. Двоюродный брат Сергей Скрементов жил с семьей в областном центре. У Игоря имелись его адрес и телефон. Можно было остановиться у Сергея, переночевать, отдохнуть, а рано поутру со свежими силами двинуться в путь. Но Игорь решил не беспокоить родственников ночью, а заглянуть к ним на обратном пути. Да и мать хотелось увидеть как можно раньше, поговорить, успокоить.

Это было нелегкое для страны время — конец девяностых. Криминал поднял голову и нагледел день ото дня. На многих трассах, больших и малых свирепствовали банды. Нападали на фуры, автобусы, грузовые и легковые автомобили. Грабили, угоняли транспорт, убивали его владельцев. В одной из центральных газет Игорь наткнулся на очерк: «Волки» охотятся ночью», и с удивлением прочел о своем родном крае: «...В этой приграничной области на Западе России бандиты развязали террор с каким-то мистическим оттенком. Сельские, да и городские жители с опаской выходят из домов даже белым днем. Запираются на замки черной ночью. Не заготавливают сено, не собирают грибов и ягод, не ходят на охоту, откладывают деловые поездки. Потому что рыщут в дремучих лесах беспощадные «волки», озверевшие от людской крови. Выходят разбойничать на дороги, грабят магазины, угоняют или силой отбирают машины и мотоциклы, врываются в жилые дома, насилюют женщин, совершают зверские убийства...»

По Киевской трассе Скрементов гнал машину без роздыха. Когда же въехал на трассу Орел-Смоленск, расслабился, почувствовал себя дома, на родной земле. До деревни оставались считанные километры, когда свет фар выхватил из темноты силуэт человека посреди дороги, машущего руками. Игорь притормозил, открыл стекло кабины, и высокий белокурый мужчина средних лет, нагнувшись, с акцентом возбужденно прокричал:

— Я латыш. Зовут Янис. Мы с напарником везем ценный груз на Украину. Остановились здесь на ночлег. На нас напало двое вооруженных грабителей. Украли большую сумму денег. Напарник ранен в ногу.

— Где они сейчас? — спросил Игорь.

— Скрылись на красных «Жигулях» вот на том повороте...

— Это на Белоруссию. Я за ними, — бросил Игорь. — Окажи помощь напарнику и на всякий случай перекрой белорусскую трассу своим грузовиком, — крикнул он напоследок и надавил на газ.

Скрементов свернул на повороте и во всю мощь погнал «Ауди». Прошло полчаса, когда впереди замаячил красный «Жигуленок». Игорь стал преследовать его. Бандиты заметили погоню и решили пропустить иномарку вперед. Сбавили ход, свернули на обочину и остановились. Скрементов проскочил мимо них, укрылся за поворотом и стал наблюдать за дорогой.

«Жигуленок» пронесся мимо на бешеной скорости. Скрементов вынырнул из укрытия и вновь бросился в погоню. Бандиты заметили приближающуюся иномарку и открыли по ней огонь. Игорь притормозил, но продолжил преследование. Впереди

замаячили огни — приближался поселок. «Кажется, пост ГИБДД. Неужели сами идут в ловушку?», — недоумевал подводник. Неожиданно «Жигуленок» резко развернулся и помчался назад, прямо на Скрементова. Проезжая мимо, бандиты вновь открыли огонь. Несколько дробинок пробили стекло, но Скрементов среагировал вовремя. Тотчас развернул машину и помчался вдогонку.

Иномарка почти настигла «Жигуленка», когда фары «Ауди» вырвали из темноты фургон. Латыш поставил фуру поперек дороги и перекрыл проезд. «Жигуленок» попытался проскочить по краю обочины, но сорвался, опрокинулся и полетел в кювет.

Скрементов пулей вылетел из автомобиля и бросился к «Жигуленку». Подбежав к машине грабителей, он рванул на себя дверцу и вытащил рыжего коренастого парня, который лежал рядом с водителем. Тот попытался направить на него обрез. Игорь резко ударил ногой по руке бандита, выбил оружие. Заученным движением заломил ему руку за спину и, схватив другой рукой за волосы, ткнул головой о край кабины. На помощь подоспел Янис.

Меж тем, водитель «Жигуленка», доселе не подававший признаков жизни, выскочил из машины и пустился бежать по полю, освещенному луной, в направлении зубчатой кромки леса. Скрементов бросился за ним. На ходу сбив ногой крепкого рослого парня, он всем телом навалился на него. Тот сбросил Игоря, попытался подмять под себя, схватить за горло. Игорь извивался, как уж, применял болевые приемы. Силы их были примерно равны, но Игорь был более изворотлив. Улучив момент, он нанес противнику сильный удар коленом в пах. Тот на мгновение ослабил хватку. Игорь воспользовался этим, крутанул его лицом вниз и своим коронным приемом заломил ему руку за спину. Подбежал Янис и оторвал бандита монтировкой. Тот мгновенно затих.

Ночных разбойников уложили в иномарку и доставили в районный отдел милиции. Там выяснилось, что за бандой братьев по прозвищу «Рыжие» тянется длинный шлейф тяжких преступлений. И хотя банда просуществовала недолго, на ее счету было несколько пострадавших водителей, похищенные ценности, угнанные машины.

До рассвета Скрементову пришлось подробно рассказывать следователь и описывать в деталях ночное приключение. В поте лица трудился и латыш, побывавший с напарником в поселковой больнице, где раненому была оказана медицинская помощь.

Когда Скрементов прощался с Янисом, тот крепко пожал ему руку, похлопал по плечу и сказал:

— В нужный час ты, брат, подоспел на помощь. И лихо разделался с двумя вооруженными бандитами, хотя с виду вовсе не богатырь. Откуда такая уверенность в своих силах?

— Я подводник, — гордо ответил Игорь. — А на субмарине служат только оптимисты. Кто не верит в удачу, тот не подводник!

На пути к отчету дому Скрементов остановил машину у тихой речушки, петляющей среди кустарников. Игорь спустился к воде, умылся, присел на берег и долго всматривался в речную заводь, сплошь покрытую широкими изумрудными листьями спящих кувшинок. Стояла звенящая утренняя тишина. Над водой, повисая на ветках, расплзался белесый туман. От реки тянуло свежестью, водорослями, знакомыми запахами детства.

Припомнилось Игорю, как босоногим мальчишкой он ловил здесь раков со своим лучшим другом Толиком Кузиным. Как только зацвел лен, друзья собирали снасти и по узенькой кочковатой болотной тропке, известной только им, пробирались к реке. Первый заход делали на вечерней зорьке, а потом строили шалаш и оставались на ночлег. А рано поутру, когда раки выходили на кормежку, вновь ставили под коряги круглые сетки-либерки. Приманкой служили поджаренные на костре лапки лягушек. Тогда так же курился над водой легкий туман, до одурения пахло речной мятой, кувшинками, болотной травой...

Вроде все как прежде, но сколько воды утекло с той поры, как много изменилось за последние годы! Поля, некогда дававшие богатый урожай льна и зерновых, сплошь заросли дикой травой и кустарником. Режет глаз колючий бурьян на пустырях, где когда-то возвышались хаты, красовались деревенские улицы, цвели сады, шумела жизнь. Теперь здесь тишина. «Скоро исчезнет с лица земли и моя деревушка, от которой остался лишь хутор в несколько покосившихся хат. Зато как продвинулся вперед погост на окраине — кресты, словно людские руки, тянутся и безмолвно зывают о помощи», — с горечью подумал Игорь.

Давно уже нет отца, без вести пропал в Афгане брат Михаил, до срока состарилась мать, где-то на Дальнем Востоке служит военный инженер-строитель Анатолий Кузин — возводит понтонные мосты. Да и сам Игорь уже давно не тот деревенский мальчишка, а капитан-лейтенант Северного флота, можно сказать, морской волк, за плечами которого немало нелегких морских походов...

Мать привычно приложила ладошку к глазам, защищаясь от солнца, и вдруг всплеснула руками, шагнула с крыльца, обняла, заплакала:

— Как добрался, сынок? Исхудал, в чем только душа держится. Волосы поредели, седина пробивается. Видно, суровое твое море, вон как силы отнимает?

— Да нет, мама, просто двое суток в дороге, устал малость. Немного отдохну, и ты меня не узнаешь. Ведь воздух наш деревенский особый, целительный.

— Надолго ли в гости, сынок? Как жена и доченька?

— Не волнуйся мама, думаю, что на весь отпуск работы хватит. У нас все в порядке, они на юге, отдыхают у моря, а на обратном пути обязательно заедут в деревню, погостят у тебя. Как ты здесь поживаешь, как твое здоровье? Надо тебе к нам перебираться. Трудно тебе одной в нашем опустевшем, диковатом краю.

— На кого же я оставляю могилу твоего отца, сынок? — горестно покачала головой мать.



Алексей Яшин
(г. Тула)

ИЗ ЦИКЛА НОВЕЛЛ «БОЛДИНСКОЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ»



ГАРМОНИЯ НА РАЗНЫХ ОКТАВАХ

*...И тогда я сказала ему глазами чтобы он снова спросил да и тогда он спросил меня не хочу ли я да сказать да мой горный цветок и сначала я обвила его руками да и привлекла к себе так что он почувствовал мои груди их аромат да и сердце у него колотилось безумно и да я сказала да я хочу Да.**

Джеймс Джойс «Улисс». Часть III.
Эпизод 18 (последняя фраза романа)

...Опять же читатель, позволивший себе роскошь прочитать весь цикл настоящих рассказов о нынешней российской молодежи, поворчит: да это не отдельные рассказы, а главы некоего повествования! Так и главный персонаж предыдущей новеллы переходит в нижеследующую. Не прав наш дорогой читатель — это просто пересечение литературных героев.

♦ Не беря во внимание кратких и калейдоскопических детских и юношеских, правильнее — девичьих, сновидений, настоящие сюжетные сны начали посещать Олю Ладкову сразу после окончания университета и начала ее трудовой жизни. Вот и в прошедшую ночь (потому ли что начало полнолуния?) ей привиделось сразу три сна без театральных антрактов, без школьных и университетских перемен. И каждый из сюжетов с задаваемой загадкой, дескать, сны даются тебе, Олечка, с утренним напоминанием, поэтому сама и разгадывай!

В первом, явно для зачина (ох, ну и коварно же полнолуние!), явилась ожившая титиановская картина «Динарий кесаря», не раз виденная ею в репродукциях художественных альбомов.** Вообще говоря, киношно-телевизионные и интернетовские фокусы с оживлением фигур на картинах и фотографиях ученые на то люди вполне оправданно относят к мощнейшим средствам разрушения психики. Это Оля прекрасно знала по своему образованию. Во сне она ежилась, чувствуя озноб и мурашки по коже, но в человеке дьяволом заложено и несколько паскудное любопытство, почти тяга к созерцанию всего аномального для его, в общем-то нормальной, психической установки. Вот и она со всеми своими ознобами и мурашками не могла оторваться от оживающей картины Тициана: рука иудейского провокатора от книжников и фарисеев все удлинялась и удлинялась, протягивая Христу монету динария: что, мол, новый вероучитель, загнал я тебя, в угол? — ни направо, ни налево от меня не отвертись!

* У Джойса в его романе своя, авторская, как сейчас принято говорить, грамматика, которую мы сохраняем в настоящем эпиграфе.— Прим. авт.

** Помнится, что «Динарий кесаря» до тридцатых годов был в экспозиции Эрмитажа, но затем как-то загадочно (госпродажа?) оказался в США. Может через Арманда Хаммера? — Прим. авт.

Оля скорее угадывала, нежели видела, дрожь руки нетерпения провокатора: ну же, ну же, новый спаситель человечества!

А на лице ожившего на картине Христа она наблюдала плавную, хотя и очень скорую смену выражений состояний ума и души. Начальное спокойствие, но именно спокойствие ожидания каверзного вопроса — он же прекрасно знает пронируемость агентуры синедриона? — сменяется при виде руки с динарием на мудрость в глазах, но — опять же спокойную. Ибо Спасителю все ведомо в человеке земном — а он и сам есть земное воплощение Бога! — все прошлое, настоящее и будущее до его далекого еще второго пришествия, хотя бы и первое пока не завершилось. Увы, оно скоро и неминуемо.

Собравшийся вокруг центральных фигур — лишь угадываемый зрителем — народ иудейский застыл в молчании ожидания ответа Христа. Удивительно для Оли: Спаситель и провокатор с динарием на картине ожили, а вот молчащая толпа слушателей осталась в полной статике, нарисованной Тицианом раз и навсегда — для музеев. И вот тихий ответ Христа: «Богу богово, а кесарю кесарево». И все. В Олином сне картина мигом обрела свою музейную неподвижность.

...И ушел образ Христа и другой — с дрожащей от нетерпения рукой с динарием, а во втором сюжете во вневременности сновидения четко, отчетливо в покадровой развертке прокрутился советского времени фильм «Курьер» — от сцены развода родителей в суде до финальной ночной дворовой танцплощадки с танцором брейка. Первая и короткая, даже не начавшаяся развиваться юношеская любовь. Первый блин комом, но от него потянутся, уже за кадрами с надписью «Конец фильма», заранее неугадываемые, сплошь из случайностей и совпадений линии любви как содержания жизни. Кальдеронова «Жизнь как сон» — пьеса, читаемая с мурашками опять же. На сцене Оле ее видеть и слышать не довелось. И все объединил мрачнейший из философов Сёрен Аби Кьеркегор, определивший жизнь как сон, а любовь — содержанием этого сна. Думай, Оля, думай, проснувшись, о смысле повторения во сне старинчатого фильма о *начале* любви — содержания (через сон) жизни.

Завершающий же эпизод сна настолько ее насмешил, что Оля и проснулась с хохотом, понятно, не голосовым, но внутренним. Снился сельский пейзаж: луговое взгорье, а на высокой его точке беленькая с голубенькими куполами с золотыми звездочками небольшая церковь. Но — церковь все же, не уменьшительная на языке церковка. Чуть сбоку ее поповка о двух домах, за которыми крутой спуск к местной речке с бобровой запрудой, а за церковью, на недалеком от нее расстоянии раскинулось на равнине большое село. Пейзаж как пейзаж. И сама в детстве точно такой же видела, проводя ежегодно один из летних месяцев у деревенской своей бабуси. С дедусей и заматерелым холостяком, братом Олиной матери, со многой живностью на дворе. И сейчас она хоть на пару дней да съездит в это село; все живы, правда, не то чтобы здоровы: бабка, дед и заматерелый холостяк дядя.

Но во сне она поднималась по травянистому взгорью к церкви с бабусей именно девчонкой, начальной школьницей. Над взгорьем, раскидистым селом, окрестными полями и вплоть до дальнего отсюда соснового леса, обступившего гигантской подковой с трех сторон света эту местность, несся, словно не от церкви, но с бездонного синего неба, мерный колокольный звон. А шла Оленька с бабусей с противоположного их селу взгорья по той причине, что с утра ходили в совсем ближнюю, всего в двух километрах, деревеньку проведать захворавшую старшую сестру бабушки, значит, тоже Олину бабушку, только двоюродную. Слава богу и их сельскому фельдшеру, болящая перемоглась. «Еще денек-другой при избе побуду, чайком травяным пользуюсь, а там и огород забот требует», — говорила она на прощанье с сестрой и внучкой, сожалея, что слаба еще сегодня с ними пройти до села, до церкви в такой-то праздник! А про храмовый праздник в селе еще загодя пожилые люди только и говорили. Бабуся объяснила Оле, что раз в год таковой в их селе и окрестных дерев-

нях случается на день святого, коим поименована их церковь с синими куполами с рассыпанными по ним золотыми звездочками...

«Вот и к обедне поспели,— сказала бабушка на середине взгорья,— слышишь, звон колокольный пореже и погудистее пошел!» Вот и раскрытые празднично церковные врата, в которые входит народ, в основном пожилые женщины в белых платочках. Некоторые и дедов своих или просто по пятому, по шестому десятку лет мужей с собой привели. Заметила Оля и нескольких девушек и молодых женщин, торопливо набрасывающих на головы платочки на самом входе, не совсем уверенно, видно со своими тайнами, входящих в храм. Обочь входной лестницы, но по разные ее стороны, стояли и нарочито плоховато одетые нищий и нищенка — но не из их села. Кто такие нищие, Оля знала еще по городу, но в последние год-два они как-то повелись.

«Подойди, Оленька, сначала к женщине убогонькой, подай ей денежку, а потом к дедушке насупротив, с инвалидной рукой подвязанной. Есть с собой монетки в карманчике или дать тебе?» — бабуся потянулась в свою хозяйственную сумку за кошельком. «Есть, бабушка, есть», — звонко ответила Оля и вприпрыжку подбежала к убогонькой нищенке. «Спаси тебя, господи,— напевно заговорила та,— подай сиротинушке на хлебец и молочко». Оля, как уже уверенная по городской жизни покупательница, опустила руку в кармашек своего платица в веселенький горошек, не нашла там монеток, поэтому вынула карточку, на которую родители переводили деньги «на мороженое», протянула нищенке: «Снимите, бабушка, десять рублей». Убогонькая сиротинушка нагнулась, вынула из стоявшей на земле у ее ног клеенчатой сумки для сбора съестных подаваний, яблочков, булок — что подадут, приемный терминал с хвостиком вайфай-антенны, набрала цифру десять, для сверки показав экран Оле, затем приложила ее карточку, которую вернула подавшей милостыню со словами про спаси-тебя-господи. Перебежав дорожку перед лестницей в церковь, она так же, но уже сама, приложила карточку к загодя заготовленному инвалидным бродяжкой терминалу с набранной цифрой десять. «Спаси тебя, деточка, господи и пошли тебе, когда подрастешь, хорошего жениха», — поклонился девочке нищий, упрятывая терминал в свою сумку для подаваний. «Ишь, городские-то, — явно с поощрением промолвила входящая на церковную лестницу совсем высохшая старушка, — сызмальства приучены к цифровым технологиям!»

♦ Оля начала мысленно хохотать в последнюю секунду сна и еще с полминуты превозмогала желание расхохотаться голосом, проснувшись в самом веселом состоянии. Тем более — сегодня и завтра выходные. Не надо торопиться вылезать из-под одеяла, значит можно поразмышлять о сюжетных таких снах — пока не забылись. Что же связывает картину Тициана, старый советский фильм и вовсе перепутавшийся во времена храмовый праздник в дедушкином-бабушкином селе?

Проще понять причину отдельно для каждого сна. Здесь и рассуждать особо нечего. «Динарий кесаря» — на днях листала имевшийся дома — в числе еще нескольких других — альбом, впрочем, сборный, не одного Тициана; отсюда и «Динарий». Альбом же листала просто так, без определенной цели. «Позднее девичество, — тогда она усмехнулась, но справедливости ради кокетливо уточнила, — вернее, переход от девичества к самой расцветущей молодости!»

Советский фильм — еще проще. Не то что в рассеянии вечером по программе «Культура» поглядела, но мать позвала, увидев титры начала: «Оля! Посмотри «Курьера», тебе понравится, в нем оч-чень характерная изюминка, что сейчас вообще разучились киношники делать, заложена». А после окончания фильма, что просмотрела вместе с дочерью, не отвлекаясь ни на какие домашние дела, добавила: «Когда он вышел в прокат, то несерьезно его восприняли, даже по части юмора многие отнесли. Что ж, и в более серьезном искусстве нередко будущую гениальность произведения не сразу осознавали. Здесь классический пример «Шестая симфония» Чай-

ковского. Даже друг Петра Ильича Римский-Корсаков что-то навроде «так, ничего себе» отозвался. А коль скоро после этой, последней симфонии Чайковского уже ничего сравнимого с ней в русской, да и вообще в мировой, музыке не появилось, тем более уже и не случится, то на сравнении «последняя гениальность» великого композитора стала ясна и необсуждаема. Так и вроде бы мимолетный «Курьер» на фоне современного примитивизма, точнее — идиотизма, «фильмотворчества» смотрится киноклассикой. Как и почти все советские фильмы — кроме «датских и иже с ними».

...Неудивительно, что фильм этот с пояснениями «самой умной из женщин», как совершенно искренне Оля называла мать, и вошел в сновидение прошедшей ночи.

И совсем просто с храмовым праздником, где дарующее сновидения подсознание так смело перепутало все времена: новый, «конфетно-букетный» еще, ее знакомый Игорь Редькин, первогодок-инженер из знаменитой в городе и далеко за его пределами «Меткости» имени академика Гусакова, как-то обмолвился, что-де скорее все настолько оцифруется, что и нищие на паперти будут милостыню брать с карточек на личные терминалы... А память для антуража картины действия дополнительно к терминалам нищих пышно прибавила воспоминания детства с летними пребываниями в селе у бабушки с бабушкой.

Но все же как связать столь разнохарактерные эпизоды воедино? Ведь подсознание дает человеку сон в определенной логике построения — это она сама на экзамене примерно так отвечала. Другое дело, если сон прерывается, но она-то спала не шелохнувшись, приятно устав за суматошно выдавшийся день, ни на секунду не пробуждаясь! Даже обычно шумноватый летом их двор этой ночью был «приглушен» моросившим с небольшими перерывами дождем. Вот-вот. И дождь в помощь: когда как не под капель за окном спится крепко, неспросыпно! Значит, окончательно решила она, должна быть единая логика во взаимосвязи всех трех эпизодов многожанрового сна.

Суббота, в смысле первый выходной день, более всего замечательна своим утренним началом: никаких будильников и будящих — пока одна *еще* ночь проводишь — и забот, заставляющих по пробуждении тотчас покидать постель. И размышлять, как вот сейчас, к примеру, не торопясь, о такой ерунде — о сновидениях. Вот сама к себе привязалась-то? Дался тебе, Олечка, составной, как пазлы, сон! Все единую логику ищешь — не женское это дело, ибо единое начало только в обычной, формальной логике присутствует, которая нашему полу не дана. И пусть мужики над этим не подхихикивают свысока — зато именно и только женщинам дана аналоговая, дедуктивная логика, намного богаче в своих возможностях мужской формальнологической, туповатой прямолинейности! — Как замечательно это объяснил публичный философ Бокль, книжками которого зачитывались в начале прошлого века, в числе прочих, все курсистки и гимназистки старших классов.

А вот по дедуктивной-то логике и можно безо всякого «Полусонника» и гадательных книг, что кипами переиздавались в девятые годы возвращения мистики и метафизики... а вообще-то для наживы первичного накопления капитала, разгадать трехчленность только что просмотренного ею, Олечкой себя очень любящей, сновидения. Итак, тициановскую часть следует понимать, как и сказал Христос, в самом широком толковании и дедуктивными выводами на содержание ее начальной молодой жизни, что опять же есть некий сон с главным содержанием — любовью. То и значит, что обыденной жизни, работе своей, семье, а потом и семье своей, отдавая обыденное, а любви вечной и личной своей — любовное: дедукция от кесарева и богова. А года-то, пока еще малые для долгой жизни, но идут, потому надо себя и поторапливать... как в библии — она поправилась: библию-то она не осилила, но в каком-то романе русской классики ссылку на библейское вычитала и в голове отложила — что-то навроде: никакого плода вождельного дольше лет его созревания не убережешь, а если усилием своим и убережешь, то и выкинешь в конце концов. Бабуся

проще и яснее об этом говорит: главное, девонька моя, не перестоись, а то и сама себе не понадобится.

Та-а-ак, спасибо сну и его всемирному толкователю Фрейдю за актуальное напоминание! Вторая же часть с фильмом в таком ракурсе и вовсе орешек белке на зубок: шелк, ядрышко в пользу организма, а шелуха на землю. Юная трагическая пара в «Курьере» уже прямо, как учитель школьнику, напомнила: Оля! Начальное чувство-вание ты уже давно прошла в десятом классе и для надежности прорепетировала в студенческие годы. Ты — подготовлена для серьезного шага. Уже и мелкая романтика конфетно-букетных периодов без легкого смешка даже не вспоминается. «Пора, брат, пора!» И что там за морем или горами светлеет... или синее?

А к чему же смешной эпизод, в котором детские ее годы в деревне с бабусей перемешались во времени с предметами гипертрофированной современности, ха-ха! нищие с личными терминалами платежей с карточки? Думала она, так ни разу с пробуждения и не подняв голову с подушки, думала... а ведь смеху-то мало в такой аллегории. Когда времена путаются, то это есть шекспировское «порвалась связь времен», а в едином месте детское счастье, церковь, любовь бабуси и мерзейшие гэджики современности — это символ грядущего, нет-нет, уже наступившего, обезчеловечивания жизни. И значит, что скоро пришедшая к ней любовь, нет, *любовь*, обещает сбываться как высшее проявление человеческого начала на фоне безликости бытия. Как же страшно? Как ужасно! Разве прежде такое случалось? Ведь это не обычные — или даже необычные! — трудности жизни, но существование, даже в самом высоком градусе любви, в полном разрыве связи с прошлым и в вечном, но обреченном страхе перед будущим. Но я же молода, молода, только от юности отошла, мне ли отчаиваться? Оля посмеялась над посетившим ее страхом перед близким и далеким будущим, сбросила с себя одеяло и стрекозой вскочила с постели. «Ай да Оля, ай да мамина дочь!»

♦ Явившееся ей во сне бабушкино-с-дедушкой село, по их рассказам еще невнимательно слушающей взрослые разговоры девочке Оле, в дореволюционные годы являлось торговым, с двумя ярмарками в году, а бабушкин дедушка имел мельницу на местной речке и арендовал ссыпные — под зерно урожаев — амбары, то есть по деревенским меркам полагался человеком вполне обеспеченным: не миллионщиком, разумеется, даже не тысячным, но — зажиточным. А совместный земельный надел, доставшийся им от отца, полученный при отмене крепостного права царем-освободителем Александром Николаевичем, бабушкин дедушка отдал после разорения общины Столыпинам своему брату. Тот сугубо крестьянствовал, а на праздники рождества, пасхи и царевы («три дня за царя и два за царицу», — как говаривали тогда) иногда добродушно подначивал старшего брата: «Смотри, Матвей, земляной-то рубль тонок да долог, а торговый твой широк да короток!» Но революция их сравняла.

...Это все к тому вспоминала по утрам Оля, что в ее комнате стояло старинное трюмо, правда, всего лишь «под красное дерево», что некогда купил у мебельщика в соседнем уездном городе бабушкин дедушка. И уже Олины дедушка с бабушкой подарили семейную родовую память внучке в день ее шестнадцатилетия. Олин отец привез трюмо домой, но перед тем, будучи в отпуске в селе, самолично подновил деревянное обрамление полутораметровой высоты зеркала: где подчистил, подкрасил, все полагал. Руки у него из нужного места растут.

Так и в это позднее, субботнее утро, после трехсерийного сна-притчи, Оля, стрекозой вскочив с постели и, разоблачившись от пижамы (тут же подумала: пора, Олечка, отказываться от девичьей этой ночной одежды — замужние в пижамах не спят... хотя бы первые десять лет...), нагишом встала перед трюмо. На утреннюю поверку, как она это называла — все же офицерская дочка! «Что ж я хороша! Жуть!», — сказала и засмеялась, припомнив внешне глуповатую, но, если вдуматься, оч-чень даже со смыслом фразу из телерекламы: «Я очень люблю искусство и говорить о том, что я люблю искусство, тоже очень люблю».

И уже не вслух, но мысленно прочитала свою «утреннюю молитву»: «Все во мне хорошо: мои двадцать два года и универ позади, головка очаровательна и далеко не пуста, а ножки? А вайтлс — хоть сейчас на подиум, притом не вошла сушеная, но ранняя приятная округлость во всем. А грудки-то «аэродром»-классика и за второй номер уже уверенно движутся — гм-м, умеренная ранняя, с семнадцати лет разве ранняя? интимная жизнь не то что не отягощает тело, но именно расцветивает его! Это как легкая физкультура красит человека, а ранний спорт, он же профессиональный, уродует... Тренировка перед серьезной любовью — оно же замужество, к которому надо тщательно готовиться... не торопиться, но — постоянно в неглупой своей головке держать. Аминь!»

И после «молитвы» еще с десяток минут не то что вертелась, но замедленно вальсировала перед зеркалом, зная, уже с шестнадцатилетнего возраста даже мать не входит к ней, если дверь закрыта. Стучать, конечно, не стучат, но окликают, дескать, к завтраку! Отец всех воинской дисциплине и внутреннему распорядку обучил на раз-два... И не просто вальсировала, но прокручивала к голове тему последнего времени, условно обозначенную ею как «гармония на разных октавах». Имея за детско-отроческими еще плечами начальную музыкальную школу, впрочем, незаконченную — надоело и все! — понимала, что такой шифр есть чушь, как говорится, совсем из разных опер, но — как обозначила, так и приняла.

Игорь и Ольга, да-а, киевские, они же варяжские, скандинавские имена. Очень даже в гармонии звучат, хотя бы и октавы у нее с новым, очень даже заинтересовавшим ее знакомцем, несколько различны. В душах ли? или в доминантах мышления? Но сродство или несродство душ выяснится только через некоторое время, даже подлиннее конфетно-букетного периода, даже после — господи! я еще умею розоветь, краснеть! — начального постельного знакомства. Здесь ни от нее, ни от него ничто и не зависит: все природа с ее лунными притяжениями сама решает — быть вместе или не быть. Но вот вроде бы различно мыслят? Да? Но ведь это все та же чушь: с ее стороны — обычный женский молодой выпендрег, с его — еще пока отсутствие, по молодости, самодостаточности мышления, как их на лекциях по психологии просвещали в универе. Пока же милый (мой уже? или пока нет?) Игореша все цитирует восторженно знаменитого в их университете профессора Скородумова — и ей эта фамилия знакома, — с которым он вроде как сдружился на последних курсах учебы. Но ведь и она еще не обабилась, не остервозилась, потому и ей занимательны рассуждения умничающего Игоря. О сущности нынешнего строя, в котором причудливым, но вовсе не исключаящим друг друга, образом тесно переплетены советизм, феодализм, то есть церковь, и наибольшее по удельному весу западничество.

...И как в современном глобальном миропорядке мышление и знание уже стопроцентно заменено полностью обезличенной информацией. А мерзкий американизм «креативность» как раз и есть суррогат прежнего творческого мышления. Совершенно искренне соглашалась она с новым своим (пока просто) другом, что сейчас в умах господствует гибридный иезуитизм современной роботизации и расчеловечивания: такой адепт с удовольствием — если что-то его заставит — прочтет и даже поймет «Идиота» Достоевского, может внешне вполне здраво судить о чем угодно, но он уже лишен способности творить! Словом, квалифицированный потребитель ранее или сейчас, но другими созданного. «Понимаешь, Оля (О-ля-ля! прогресс — с третьей встречи перешел-таки с Ольги на Олю!), современный человек эпохи глобализации и расчеловечивания даже и не подпадает под одну из противостоящих категорий: плох он или хорош. Просто для него уже не существует морального выбора между добром и злом, ибо таковые качества упразднены в расчеловеченном социуме...». И так дальше. Она же сдержалась в последний миг, чтобы бездумно, чисто по-женски очаровательно и беззлобно не связывать, что-де для начинающего инженера-ракетчика очень ты, дорогой мой, умен и развит... во все стороны. И еще добавила про себя: «А

вот, к сожалению, в мою сторону ты не так стремительно идешь. Хотя бы по характеру своему далеко не робок!»

♦ «А какая у меня воспитательная попка,— хихикнула она мысленно,— профессионалки по части ниже пояса такие специально выращивают!». Оля мигом вспомнила картинку в журнальчике секс-объявлений, что привозили универские ребята, ездившие по мелкой коммерции в столицу, где такие бесплатно раздают, прямо вбрасывая в открытые окна авто, застревающих в бесконечной летней пробке на Варшавке, лихие ребяташки «от редакции» — гостям столицы. «Все ведь для него, будущего суженого-ряженого, сберегаю, чтобы хотя бы первые пять-десять лет на скороспелых профурсеток не скидывался. Мол, дома получше вас во всех отношениях ждет!» Я же тебя, мой грядущий суженый-ряженный, дома всегда встречу с неподдельной, неугасимой любовью и... нестареющим роскошным телом. Оля еще раз почувствовала теплоту зардевшихся щек, опять же вспомнив курсовую, что решила по второму году учебы не абы как скомпилировать из инта, но попробовала, к изумлению всех своих сокурсников, сочинить самостоятельно. Попытка удалась; правда, больше на такие подвиги она не отчаивалась. Зато много для себя полезного и нравоучительного почерпнула, особо отметив «библейский интим», а именно словосочетание «отверзнув ложесна». Эти древнерусские словеса куда как целомудреннее... нет, даже торжественно целомудреннее, звучат, нежели нынешний безликий американизм (это уже от недавнего по времени общения с Игорем терминология) «секс» и прибалтненное «траханье». «Отверзну для тебя, мой грядущий милый, свои ложесна страстно телесно и целомудренно душевно в одно и то же время — в тот же миг, в тот же час, а лучше во всю ночь!» — пелось в ее сердце — откровенно. Откровенность, полагала она, совершенно иное, нежели бесстыдство. Хотя бы по натуре своей, по биологии женщина сама-одна и в своем женском кругу бесстыдна — с точки зрения мужчин, конечно, и еще формально понимаемой этики. Поэтому она как обычное, поведенческое воспринимает типично женские откровения своего круга общения.

Вот та же Танька, одногруппница, выскочившая замуж аж на первом курсе, а по окончанию учебы и не думающая идти работать, благо муженек коммерс средне-малой руки. С неделю назад случайно встретились, зашли поболтать в кафешку. Болтала-то она всякую чертовщину — бабенки молодые дуреют от сладострастного безделья. «...Знаешь, Олечка, с мужчинами с самого начала надо приучаться не особо их расслаблять. Наша главная ценность для них — что между ногами, поэтому даже в обыденной, супружеской жизни следует умело этим пользоваться. Вот своего Витальку воспитываю: когда начинает, ссылаясь на трудности в своем бизнесе, ограничивать меня в деньгах «на шпильки», так я ему встречное: хочешь поиметь меня в постели — будь добр пару тысконок за одноразовое пользование! Ха-ха-ха, Олечка, женщина по натуре своей природной бесплатно на себе порезвиться мужику не даст, будь она профессиональной проституткой, содержанкой или... законной женой, даже и любящей».

И тоже вроде как давняя, еще со школьной парты, подруга Яна Зиборская, дочь приличных, как сейчас говорят, родителей с доходами, тем не менее патологически жадная — не в смысле «все в дом тащить», но обязательно своего очередного ухажера как следует вытрясти. То есть жадность спортивного свойства скорее. Поэтому в черед своих «бывших» даже с уважением постоянно вспоминает незнаемого Ольгой Диму: «...Был у меня, Олечка, такой воспитанный друг, очень воспитанный и нежадный. Однажды исчез на целый месяц: не звонит сам, и на мои уклончиво как-то отвечает про форс-мажор и прочее. Но прошел этот странный месяц и — является Дима пред мои очи, в руках огромный букет роз и коробочка с французскими духами модной в том сезоне серии от Шанель. Все извиняется, про свой форс-мажор лепечет... и только через пару недель, в постели наутро признался, что на самом деле случилось, что на целый месяц оказался он совершенно без более-менее нормальных денег, «по-

этому, Яночка, я бы не смог тебе покупать то, на что ты обратишь внимание». Представлешь каково, Олечка! Жаль, что ему дорогу в моей части перебежал такой солидный мужик, что... впрочем, у меня с ним долго не продержалось. И после Димочки я уже заранее прощупываю своих новых, рассказывая как бы к случаю про «покупать то, на что я внимание обращаю...». Сразу жмоты и халявщики на дармовщинку попользоваться в сторону отбегают!»

При этом рассказе Яны Ольге вспомнился фильм Кустурицы «Черная кошка, белый кот» — причем не столько по содержанию, сколько по названию. Хотя бы все эти, именуемые интеллектуальными, картины Феллини, Тарковского, того же Кустурицы, трепета в ней не возбуждали. «Натура моя не нервическая, но и не хладнокровная,— отвечала она на этот счет в «умных» беседах,— что значит, опять-таки, не серединка наполовинку, но характер мой не требует внешнего возбудителя: ни в сердце, ни в голове, ни в гипотетически предполагаемой душе». Умная же мать — и поддакивающий ей в тонких материях отец — резюмировала просто: «Крестьянка ты, Олечка, по натуре, конкретная и реальная. И если таковое качество в семи поколениях сохраняется хотя бы в абрисе, то значит не совсем пропащий человек. Женщина — тем более».

...За завтраком она будничным — хотя на дворе суббота! — голосом сообщила, что на оба выходные дня уезжает за город, на дачу.

— Так и мы туда собираемся,— с мужской туповатостью вскинулся отец, которого тотчас дополнила умная мать:

— Мы-то на свою, а Ольга на чужую, да?

— Пока, мам, на чужую, а там видно будет.

Больше вопросов не задавали. Передевшись у себя в дорожную одежду, взглянула на настенные часы: до половины десятого оставались считанные минуты. При села и скоро дождалась звонка от Игоря, коротко ответила, что уже выходит из дома.



Принято считать, что феминизм и женская эмансипация возникли где-то в начале второй половины XIX века и преимущественно в вольнолюбивых Северо-Американских Соединенных Штатах — САСШ — тогдашнее их самоназвание. А в России первый пик (помните из классики стриженных барышень-курсисток?), наэлектризованный двумя романами — более известным «Накануне» и ныне подзабытым «Подводным камнем», пришелся на последнюю треть

того же века; в начале же века двадцатого отечественная эмансипация просто и естественно переросла в обычную половую распущенность... Основные девизы эмансипации: «Нет больше завтра — все сегодня!», «Нет больше мужей!», «Да здравствует только один закон: закон моды!», «Половой акт — как выпить стакан воды!» (Коллонтай) и ряд сопутствующих, но не афишируемых, типа: «Земля — землевладельцам, фабрики — фабрикантам, моря — судовладельцам, но при условии, чтобы они были моими держателями». Более всего эмансипантки не любят трудиться физически; об умственном труде скромно умолчим.

...Но на самом деле эмансипация, то есть бездумное своеволие женщин, берет начало в библейской поре и следует весь период цивилизации и культуры человечества. Самое существенное, что истоки эмансипации предельно просты: невнимание мужчин к не очень красивым женщинам, к тому же неряхам, бездельницам — даже в постели.

ЛЕКЦИЯ О ПОСТФИЛЛОКСЕРЕ

Если бы Вольтер знал этого нашего земляка, то он должен был бы сознаться, что не ему одному казалось удобнее молиться после обеда, чем перед обедом, но наши натуральные философы, вероятно, никогда не получают известности, постоянно предвосхищаемой у них чужеземцами.

Н. С. Лесков «Захудалый род»

◆ — Здравствуйте, товарищи аспиранты! Мне предо...

— А если здесь господа присутствуют? — перебил профессора весельчак с самого дальнего и верхнего ряда лектория главного корпуса университета, где собрали под сотню аспирантов со всех факультетов, по-новомодному — институтов. Профессор, с наследственным стопроцентным зрением, тотчас узрел в весельчаке одного из троицы, с которой он столкнулся, зашедши по пути на лекцию в «Наливайку» остограмниться коньячком — для бойкости речи, ибо давно уже отошел от чтения лекций, что полагал тратой времени и вообще делом «училок» обоего пола. Тем более, что иконостас его степеней, званий и лауреатств позволял такое барство кабинетного пишущего и размышляющего сидельца.

— Гм-м, любезнейший мой, господ наши деды-прадеды в семнадцатом году преимущественно в деревянные бушлаты поодевали, как шутковали братишки балтийские, перепоясанные пулеметными лентами. Остальные же в Париж успели отбыть. Теперешние же господа, что от братков лихих девяностых, ваучерных коллекционеров, продавцов родины на Запад в розницу и оптом, чиновных взяточников, разного рода беспредельщиков в погонах и прочая, прочая,— нам вовсе не господа, а буржуазно-воровская биомасса, которая уже скоро сама себя сожрет: отслужили свою службу и — пора на покой. Слова же товарищ не рекомендую стесняться, его ничем не вытеснишь. Оно же официальное обращение во всех ведомствах, где народ в тех же погонах. Ну, это к слову и к реплике вашего веселого, явно после «Наливайки», коллеги. А сейчас к делу.

Название лекции вам известно из разосланного по кафедрам отделом аспирантуры распоряжения... или как это там называется? Я что-то не запоминаю канцелярской

лексики. Но для начала я вам не анекдотец расскажу, как это делают профессиональные лекторы, но одну историческую справку. Вряд ли вы, исключая, может аспирантов, да и то девушек из отличниц предыдущей учебы в школе и потом в университете, сколь-либо знакомы с русской и, особенно, европейской классикой конца девятнадцатого — начала двадцатого веков. А в романах тех лет не редкость встретить такие сценки. Сидят вечером у камина в замке Девоншира или Уэльса два джентльмена, беседуют о добротной политике кабинета министров ее величества королевы Виктории, а под неспешную беседу курят сигары и попивают, как то в родовых английских замках вечером у камина принято, коллекционный португальский портвейн. По-португальски название этого государства Оппорто, отсюда и портвейн. Кстати и к слову. Вам вот средства, так сказать, массовой информации, а вообще-то дезинформации, забили головы ваши невинные — от истинного знания — дескать, только сейчас винные лавки, навроде монопольной «Красное и белое», забиты всевозможной европейской «киркой» — пей не хочу! — а в советское, мол, время только отечественной фабрикацией продукт имелся. Во-первых, этот самый продукт имел высочайшее качество по доступным ценам; во-вторых, все нынешние якобы европейские напитки суть подмосковная выделка из молдаванского винного порошка... как классик писал: «Сюда жемчуг привез индеец, поддельны вина европеец». А в-третьих, в шестидесятые-семидесятые годы бартером за нефть, вернее ее избыток, что на Запад гнали, порой страну нашу наводняли поставки самых диковинных, ранее в романах только читанных, подлинных европейских горячительных: то шотландское виски «Клуб'99», а однажды перед Новым годом захожу в свой овощной за картошкой, а там — ящики с французским розовым шампанским «Мадам Помпадур». На дипломной практике в Загорске, ныне Сергиевом Посаде, во всех продмагах объявился датский «Черри-керри» — вишневый ликер, который и в самой Европе-то редкость! Словом, была страна чудес, ребята.

...Однако опять отвлекся. Так вот, сидят джентльмены перед камином, сигарами дымят, портвешок гурмански прихлебывают. «А что, сэр Генри, недурственный ведь портвейн?» — «Да, лорд Уильям, давненько я такого портвейна не пивал. Хороший у вас винный погреб, однако». — «Сэр Генри! Так я специально камердинеру велел принести бутылочку из заветного ящика. Это же *прафиллоксер!*» — «Да-а? Я потрясен, лорд Уильям. То-то мои вкусовые рецепторы подсказывают: никак, достопочтенный хозяин замка велел подать прафиллоксеру! Польщен...».

И так далее эти джентльмены беседуют вперемежку о высокой политике кабинета министров ее величества королевы Британии и императрицы Индии Виктории и достоинствах портвешка категории прафиллоксеры. А что такое обозначается, этим термином, отдающим одновременно биологией и химией? С кафедры биологии есть желяющие?

— Да-да,— зачастила отличница в очках,— про приставку «пра» не знаю, а филлоксера — насекомое, разновидность тли.

— Спасибо, уважаемая. Добавлю, что эта тля специализируется на листьях и корнях виноградных кустов. С античных времен в Европе — от Пиренеев до Крыма и Кавказа — холили и лелеяли виноградную лозу, в итоге вывода уникальные сорта, каждый из которых придавал выделяемому вину неповторимый вкус. Но, как говорится, все зло идет из Америки: сифилис, табак, марихуана, колорадский жук, атомная бомба, голливудские фильмы и так далее. Вот и тля эта в последней трети позапрошлого века оттуда же попала в Европу и за короткий срок начисто истребила все виноградники — от тех же Пиренеев до винной житницы империи Российской: Бессарабии, Крыма и Кавказа. Как ни боролись с ней, например, в России даже правительственные филлоксерные комитеты были созданы, толку не было: все виноградное сортовое изобилие, тысячелетиями создававшееся в Старом Свете, погибло. И только в начале тысяча девятисотых годов с трудом восстановили европейские

лозы на подвоях лоз американских, которые, своя свою познаша, могут противостоять филлоксеру.

Таким образом, появились сорта винограда, а значит и вина из него, уже генетически чуждые прежним сортам — и вин в том числе. Нечто иное. Мы с вами, коль скоро винных наследственных замковых подвалов не имеем, уже *никогда* не сможем ощутить своими рецепторами тот исчезнувший вкус и аромат исторического европейского винограда и вина из него. Увы, уже сто со многими годами впридачу лет европеец ест и пьет американизированный виноград и вино из него. И только те самые английские джентльмены, которые у камина и с сигарами, могли, да и то в начале — первой трети прошлого века, побаловать себя коллекционным портвешком, произведенным из дофиллоксерного европейского винограда. Отсюда и название таких редкостных вин — прафиллоксера, то есть выделанные до нашествия американской тли на европейские виноградники. А к чему я такой странный экскурс в историю сделал — это чтобы понятнее стало содержание моей лекции. Итак.

♦ — Если прафиллоксера есть «до филлоксеры», то позволю себе ввести термин *постфиллоксера* — «после филлоксеры». Улавливаете кардинальное различие? — До и после, а между ними полный разрыв преемственности. Считается, что в человеческой, социумной эволюции такой радикальный разрыв преемственности есть нонсенс. Кстати говоря, поясню причину настоящей лекции и почему руководство университета через исполнителя — отдел аспирантуры сделало такое предложение именно мне, как говорится, человеку со многими степенями и званиями в науке, но напрочь лишенному всяких, даже самых ничтожных должностей, что в нашу эпоху административного восторга соответствует этакой нуль-валентности. Аспиранты с кафедры химии это мигом себе представляют.

Как мне, не без основания на то, представляется, из минвуза, где чиновников немислимо много, всем им надо каждодневно отчитываться за высокую столичную зарплату, спущен по вертикали подчинения очередной — из бесчисленной череды — циркуляр об усилении работы с кузницей кадров высшей квалификации в части более осмысленной ориентации молодых ученых, то есть аспирантов и докторантов вузов, в генеральной проблематике современной науки... уф-ф, что-то в таком смысле, но явно более канцелярским диалектом русского языка. С примесью устоявшихся американизмов. Ректор, понятно дело, человек архизанятый физическим, так сказать, выживанием университета, в бумагу эту не вчитывался, а прямо адресовал проректору на науке. Тот, как человек старого закала, прочитал, тут же эту белиберду напрочь забыл и переадресовал в отдел аспирантуры. Там же коллектив женский, поэтому, не докапываясь до глубинной сути — многие знания приносят многие скорби! — сходу уловили сущность внешнюю: провести мероприятие и по всей восходящей вертикали отчитаться. А заведующей отделом, милейшей Галине Степановне, тотчас и кандидатура стрелочника определилась, то есть ваш покорный слуга, хорошо ей известный по моим многочисленным поколениям воспитанных аспирантов, ранее бывший председателем сразу двух диссертационных советов, главное — умеющий говорить по сути вопроса, а не научно-бюрократическими штампованными фразами ни о чем. Вот и вся предыстория нашей с вами, полупочтенные, сегодняшней встречи. С другой стороны, и мне, лекций не читающему, иногда полезно с молодыми людьми федерации российской побеседовать, и вам положенный соответствующим распоряжением урок отбыть.

Собрали вас со всех кафедр; как говаривали царские гимназисты, от чистописания и закона божия до физики Краевича и бинорма Ньютонова, поэтому и буду говорить о пресловутой «осмысленной ориентации» в современной науке понятийно, стараясь избегать акцентации на конкретные научные отрасли, хотя... как говорил персонаж знаменитого фильма Данелии, наверняка вам знакомого, общество без цветовой дифференциации штанов не имеет будущего. Что-то в этом смысле, тем более

говорить о чем-либо в общем, значит не оставлять особого следа в памяти. Но все же постарайтесь хоть суть уловить.

Еще один существенный момент: все мы с вами имеем глубочайшее несчастье присутствовать в исторической человеческой комедии на самой крутизне взлета процесса глобализации. Поэтому, рассуждая о чем угодно, в нашем случае о науке, употреблять слова и понятия навряде некоей национальной идеи, государственной исключительности, словом, делить на «ваше» и «наше», по меньшей мере излишне. На то она и глобализация, чтобы любой процесс объективно исследовать применительно только ко всему земшару, говоря словами Маяковского, а не разделяя его на всякие европы и америки... тоже вроде он говорил. А всякие там противостояния, «наше дело правое, а ваше наоборот» и так далее, о чем круглосуточно актеры, изображающие «ведущих политологов», на телеэкранах беснуются, это всего лишь сложная, математически — и гениально! — рассчитанная кем надо, что обычно называют тайным мировым правительством, гибридная стратегия и тактика глобализации. Поверьте, это не в обиду никому не будь сказано. Поэтому выделять какую-то национальную идею, все одно что у братанов-хохлов сейчас гипертрофированная самостийность и незалежность. Они даже неизбежные американизмы украинизируют: вместо *шоу* и *вау* нарочито выговаривают *шову* и *увау*! Еще у америкосов имеется со времен декларации о независимости тринадцати штатов национальная идея, она же сейчас общечеловеческая ценность: доллар.

Ишь вы как, соколята, при заветном слове встрепенулись! Даже приморенные после своих подработочных трудовней и трудовочей за компом из полусна в явь перекинулись. Ладно, ладно, шуткую, за обиду не считите. Ибо раз глобализация есть всеми признанная реальность, то и ее условно-расчетная единица также таковой является. А если со временем на смену доллару что-то и придет, то явно не тугрик или тенге, но виртуальный битковен... или как там он правильно называется — это вы уж намного лучше меня ориентируетесь. Я ко всем таким компам-гэджикам ближе чем на полтора метра не подходу, ибо с десятков лет тому назад создал биофизическую теорию об оглуплении человека использованием этих штуковин. И снова возвращаемся к нашим *пра* и *пост*.

♦ — «Прервалась связь времен» — по Шекспиру. Удачнее не скажешь, поэтому кстати и некстати постоянно повторяют слова этого, одного из двух — второй Ньютон — британских гениев. Вот в литературе Россия дала миру равнозначного Шекспиру гения — Федора Михайловича Достоевского, в науке же, увы, «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов» наше отечество не дало. Тем более не даст в «светлом» глобо-будущем. И не дало по той причине, по каковой же во всей истории науки наши умы всегда были предвосхищаемы европейской мыслью, что народ наш в той же истории всемирной слишком молод еще: не было у него европейской античности, в свою очередь вобравшей в себя предыдущие тысячелетия Египта, Иудеи, Финикии, Персии, быть может и не совсем мифологической Атлантиды. И Христову мораль, высшую в цивилизации, Запад на тысячу лет раньше нас воспринял. То есть, вовсе не школьная зубоворка о трехсотлетнем татаро-монгольском иге, в котором, кстати говоря, Московско-Суздальско-Владимирская Русь являлась вполне автономным государством, есть причина нашей вторичности в отношении Европы, а только наша молодость! Вы же, здесь сидящие, не можете знать больше меня — я не об интернете и прочей цифрофрени говорю, — и при этом не ссылаетесь, например, на опеку родителей, даже не из татаро-монголов, а понимаете: молоды еще, но вот придет время и мы, дескать, вам, Игорь Васильевич, то бишь многостепенной и многозванный профессор Скородумов, еще покажем!

Увы, ребята, всей душой радовался бы за вас, но связь времен, в науке в том числе, уже разорвана, и «пост» уже иного сорта фрукт, нежели уходящее в небытие «пра». Как современная мадера массандровская — впрочем, в ее качестве я сомнева-

юсь — нечто совершенно иное по сравнению с прафиллоксерой мадерой тех же крымских виноградников Воронцова. Тем более — с острова Мадейры. Что с кораб-
ликом на этикетке, прафиллоксеру которой Григорий Распутин распивал в последний
день своей бурной жизни у князя Феликса Юсупова — прямого потомка брата про-
рока Магомета...

Законный вопрос: зачем социальной эволюции человечества, доселе десять тысяч
лет протекавшей размеренно, без разрыва «связи времен», именно сейчас, в насту-
пившую эпоху глобализации, потребовалось свершить такой радикальный разрыв?
Ответ без лицемерия, всякой там толерантности и политкорректности прост: индиви-
дуальный человек выполнил свою задачу, создав технический информационный мир,
которому его создатель в биологической форме *homo sapiens*, именно как мыслящая
индивидуальность! уже без надобности. Главное, что этот самый *хомо* к сегодняшнему
дню силой своего знания уже *все* открыл и обосновал в мире законов и объектов, их
соединяющих процессов — все что ему, так сказать, доверено знать эволюцией. Да
вы и сами это прекрасно видите: ненужность в человеке, в массовости интеллектов,
уже налицо. И телящик о том же твердит, дескать, уже завтра все будут делать ро-
боты... при этом лицемерно опуская естественный вопрос: а что же остается делать
человеку? и нужен ли он вообще?

— А кто же будет этими роботами управлять, создавать все более совершенные
их варианты? — воспользовалась паузой профессора давешняя отличница в очках, с
кафедры биологии.

— Управлять же процессом, но уже не научно-техническим для людей, а вирту-
ально-информационным — пока никто не может ответить для кого,— будет вирту-
альный же коллективный разум. Звучит красиво и вроде как оптимистично, но на
самом деле — зловеще. Опять немного из истории. Сейчас в фаворе коллекциониро-
вать доллары и евро, на худой конец рубли. Я же человек советского закала, поэтому
собираю различные занимательные книги старых изданий. Поэтому издавна постоян-
ный клиент нашего букинистического магазина, что рядом с областным драмтеатром,
а когда-то, в давние времена, в самом начале проспекта располагался, где сейчас
площадь перед кремлем и зданием администрации. Как-то роюсь на его полках, на-
шел очень редкое издание, о котором ранее встретил упоминание у одного из наших
классиков, а именно изданный в Одессе в середине девятнадцатого века «Новорос-
сийский литературный сборник». В два вечера прочитал его и особо отметил слова
составителя и редактора сборника некоего Георгиевского, смысл которых в следую-
щем: любая коллективизация, централизация умственной деятельности суть ненор-
мальное, вредное явление, ибо таковое парализует разумную жизнедеятельность всех
оставших частей общества... Это я на современном языке передаю. А завершает это
умозаключение Георгиевский словами: «Стягивает все силы к одному пункту».

То есть таковое определение доминанты коллективного разума, данное полтора-
ста с лишним лет назад, действительно в уныние повергает. Так понимаю, что из
фантастики в школьные годы вы одну американщину читали, минуя великолепных
советских мастеров этого жанра, того же Алексея Толстого, Беляева, Ефремова, Ер-
мея Парнова... я прав? А вот у второго из мною названных описан как раз символ
будущего коллективного разума — централизации умственной деятельности. Имею в
виду голову профессора Доуэля. То есть взятая отдельно мыслящая голова системой
электродов подключена...

— Так ее специально отрубили что ли? Где-то читал похожее у Саймака,— хамо-
вато перебил профессора все тот же весельчак с верхнего ряда амфитеатра, что тре-
бовал реабилитации господ.

— Юноша, знаний алчущий! Сожалею, но нет времени пересказывать эту знако-
вую фантастическую повесть. Уж не поленитесь на досуге сами прочитать. Итак,
мыслящая голова профессора Доуэля подключена к технической системе, которой он

и управляет централизованно. Полнейшая аналогия с нашей современностью, в которой человек, то есть его голова, является составной частью всемирной телекоммуникационной сети, того же интернета. Следующий шаг, к которому мы уже близки,— уже запрограммированная работа сети вовсе без не востребовавшего ею человека. Это и есть глобальный виртуальный коллективный разум.

У нас еще целый академический час с четвертью в запасе, в течение которых я и разовью тему лекции в конкретизации науки и технологий современных и в ближней перспективе, что, собственно, и есть тема лекции.

◆ После лекции Жора, Гена и Стас вернулись в «Наливайку», благо до нее идти от главного корпуса три-четыре минуты, выходя из которой перед лекцией они и столкнулись с профессором Скородумовым. Причина «продолжения банкета» — старшему из троицы Стасу сегодня стукнуло четверть века; Жора с Геной на год с месяцами (разными) моложе, а содружество их еще со школьных лет: двое последних и живут в одном квартале и учились в параллельных классах. Со Стасом они познакомились в студенческие годы, подрабатывая по компьютерной части в одной конторке, специализировавшейся на разработке сайтов по заказу мелких фирм, торговых компаний и вообще «за ваши деньги любой каприз». Заодно неопасно хакерствовали — тоже по заказам, но избегали криминала. Хотя... в нынешней жизни мелкого частнособственничества сложно хоть в чем-то, но не преступить черту этого самого криминала. Учились все трое на различных факультетах, кафедры нынешнего аспирантства тоже в разных корпусах. К тому же сейчас и работали все розно. Чтобы не терять содружества, парутройку раз в году устраивали мальчишники. А сегодня и сам бог велел: первый малый юбилей в их троице — «четвертной» Стасу — и встреча на лекции, за обязательное посещение которой каждый расписался в распоряжениях по своим кафедрам.

За их двухчасовое отсутствие в славном заведении «Наливай-ка!» мало что изменилось: усатый парень за барной стойкой, он же «наливайщик», его молоденькая помощница, она и официантка. Из пяти столиков два свободные. Если перед лекцией они наспех хватили по сотке у стойки, то сейчас поосновательнее расположились за одним из свободных, заказали подскочившей Маше, смахивающей на старшеклассницу, бутылек вполне съедобной водки рóзлива в Ленобласти, на закуску горячего и селедочки с зеленым горошком. Осмотрелись: за одним из столиков явно молодые преподы что-то отмечали, за двумя другими — сборная солянка, тоже из молодежи. А на высоком стульчике у бара сидела все та же скучная, некрасивая и прыщавая студентка; как и пару часов назад, перед ней стояли почти нетронутая тарелка с нарезанной вареной картошкой, посыпанной лучком, и стакан с самым дешевым соком.

— Смотри,— хихикнул Жорка,— все женихов ждет!

— Да-а,— жалеючи посмотрел на девицу Генка, учившийся в детской музыкальной школе,— прямо Сольвейг, «весна пролетела и лето прошло». Жалею девок некрасивых. Ну, разливай за здоровье нашего юбиляра!

Выпили, с чувством закусили отменной малосольной селедочкой. Генка подтолкнул Жорку локтем:

— Эк тебя профессор лихо осадил и по части господ и про отрезанную голову его коллеги профессора Доуэля!

— Хм-м, сироту всякий обидеть может, тем более — он профессор многократно заслуженный, я же бесправный аспирант...

— Такого казанского сироту,— съязвил Генка,— с вольно болтающимся языком черту знакомому подарить, а незнакомый в обрат в мешке принесет! Так моя бабуся отцу говорит, когда тот с корпоратива своей лавочки на бровях домой приходит. И чего это нас принудили на лекцию? Два часа времени только потеряли.

— Не скажи, мой юный друг,— вступил Стас,— ты вот начал говорить, прямо-таки по Далю, живым великорусским слоганом. Правильно профессор про бизнес и проблему, как самые шелудивые американизмы, сказал. Действительно ведь, бизнес — это

только зарабатывание бабок каким угодно способом. И полный идиотизм, как сказал Скородумов, говорить про «течение проблем». А суть его лекции — вполне аргументированное разъяснение: в глобальном постсоциуме наука, в прежнем ее толковании, подменяется утилитарными технологиями, к тому же стопроцентно оцифрованными. Так что мы, братья мои, хоть на год, но меньшие, уже не наукой будем увлеченно заниматься, как наш уважаемый профессор, но, в лучшем случае, станем несколько ущербными головами профессора Доуэля при компах... даже не головами, а пальцами рук при клавиатурах. Впрочем, лет через пяток, может и пораньше, когда америкосы с джапанцами поставят на поток в Китае систему интерактивного голосового общения с компами, руки тоже не понадобятся — только язык. И еще через пять лет — считывание с сетчатки глаза. Впрочем, как наш профи предрекает, человек и вовсе выпадет из этих самых цифровых технологий. Давай по второй за несчастливое будущее, но уже скорое, человечества! Понятно, и за нас с вами. Бум здравы!

Принялись, нагуляв аппетит недурственной водочкой из Ленобласти, пропущенной, как радостно сообщалось на этикетке, через серебряный фильтр, за горячее.

Беседа с обсуждением лекции профессора Скородумова с акцентированными выкриками Жорки «пора из рашки этой в Европу, а лучше в Штаты валить!» — Генки «защищусь для проформы и к дядьке, управляющему в супермаркете «Амстердам!, работать пойду компьютерщиком!» и урезонивающим голосом Стаса «все там будем!» затянулась. Опустевшую бутылку ленобластной дополняли разлитой в стаканах, приносимых шустрой Машей. До песняка дело не дошло, содержание лекции одобрили, но остались при своих — у каждого — мнениях. *Gaudeamus igitur*, словом.



Раньше народ увлекался спиритическими сеансами. Как это ни странно, но с развитием научного мировоззрения страсть к мистическим играм не ослабевает. Только в наше время это называется экстрасенсорикой, парапсихологией, биоэнергетикой, уфологией и пр. Человек мазохистски любит время от времени быть одураченным. Так стоит ли создавать высокоученые комитеты по борьбе с лженаукой? Зачем лишать людей удовольствия?

Игорь Карлов
(г. Москва)



ПРЕДЧУВСТВИЕ ОСЕНИ

Наш постоянный автор

Утро на исходе лета... Оно обещало ясный теплый день — сегодня; а в дальнейшем — погожую осень и, возможно, безоблачную счастливую будущность... Настоянное на бодрящем солнечном свете, это утро было ярким и пряным. Если бы не рычали рядом десятки автомобильных моторов, то в прозрачном воздухе наверняка можно было бы расслышать слабое шипение, подобное шипению перебродившего меда. И до того реальным, до того соблазнительным показался мне звук лопающихся пузырьков в высоком запотевшем стакане лучезарного напитка, что я невольно облизнул суховатые губы: захотелось немедленно выпить утро большими глотками...

Я иду липовой аллеей, растянувшейся вдоль главной улицы нашего городка. Точнее сказать, иду я по благоустроенной обочине, обсаженной липами средних лет. Левая полоса проезжей части полупуста. А вот правая, попутная мне (по ней, буде Господь управит, за час — полтора можно добраться в сам столичный град Москву), несмотря на ранний час уже плотно забита машинами, которые то с разочарованным подвыванием замирают, повинувшись сигналам виднеющегося вдалеке светофора, то короткими рывками бросаются вперед, чтобы снова надолго застыть на месте, словно кто сторонний резко осаживает их, рванув жесткий поводок.

Такова судьба большинства подмосковных автомобилистов: недоспать, второпях сглотнуть пищевой комок завтрака, но во что бы то ни стало опередить возможных конкурентов, успеть захватить место в медлительной колонне штампованных жестяных улит, дабы, преодолев все дорожные неурядицы, как можно быстрее добраться до столицы и не опоздать, не опоздать на работу!

Меня, пешехода, от крепко стоящих на своих четырех колесах горемык отделяет невысокий (всего-то по пояс) решетчатый заборчик да неширокий (пожалуй, с пяток метров) газончик. Казалось бы, рубеж чисто условный, эфемерный. Но, к удивлению моему, он, словно уходящая в небо стеклянная стена, скрадывал гудение растревоженного роя моторов и почти полностью избавлял от сизого чада выхлопных газов... Этим утром, этим волшебным утром выяснилось, что не сварные металлические решетки, не проведенные городским комитетом по озеленению межи отделяют мой тихий светлый мир от скрежещущего механического мира, а барьер куда более надежный, непреодолимый: прозрачный экран из золотистой фольги — сплава солнца с воздухом.

Да, воздух нынче!.. До того свеж, до того насыщен ниспосланной прямо из космоса энергией, что любого бездельника вдохновил бы на грандиозные трудовые свершения, на стахановские подвиги. Кажется, вдыхаемую утреннюю бодрость не избыть до конца рабочего дня. Да что там — до конца дня! До конца текущего квартала, до конца финансового года!.. Впрочем, не так уж он далек, конец-то года, и по законам какого-то необъяснимого, но непреложного психологического парадокса

яркое летнее утро вызвало вдруг воспоминания об утомительных черно-белых вечерах, о беспробудно-сладостной зимней спячке... Эти непрошенные воспоминания о грядущем ненастье поначалу мелькнули вдалеке сухим листочком, сорвавшимся в меланхолическое пике, а вслед за тем чуть не в погоню пустились: у меня за спиной целый взвод листьев-перебежчиков вразвалочку просеменил по асфальту и с заговорщицким шушуканьем метнулся из лета в осень...

Что там ни говори, теплых солнечных дней осталось всего ничего, и потому, когда слетает с дерева сухой листок, начинает казаться, что он не просто отвалился от ветки, повинувшись закону природы, а упал в обморок от одной только мысли о приближении дождей да мокрого снега. Но таких малахольных единицы, куда больше в густых кронах зеленых крепеньких бодрячков, с презрением наблюдающих за своими разнюнившимися соплеменниками, которые нарочито замедленно планируют на землю, плавно кружась и оседая как-то по-женски. Становится ясно, что утомившаяся от легкой жары аллея кокетничает в ожидании живительной прохлады, заигрывает с освежающим ветром и помыслить не может, что через полгода, исстрадавшись под бичами холодных дождей, намучившись в тисках снегов, с тем же нетерпением будет торопить приход весеннего тепла. Ну а пока липы да березы настроены поиграть. И меня не прочь вовлечь в свои забавы, шлепнув прямо по макушке выцветшим листиком.

Что удивительно: их игривое осаливание, которого, думалось, я и заметить не должен был бы, оказывается чувствительным. Выясняется, что сухой лист при воздушной легкости своей все же весом. Что же это за игра такая? Или вовсе не игра? Может быть, это обряд посвящения в рыцари-осеньеры? Или жест природы, хлопнувшей себя по лбу, когда ее осенило, что приближается осень? Или это магический пасс, приобщающий меня к волшебству сегодняшнего утра? В любом случае почувствовать на темени внезапно возложенную летучую корону оказалось приятно и даже весело. Я улыбаюсь. Я бы смеялся в голос, если бы впереди не маячила фигура еще одного прохожего: наверняка, попутчик не поймет неизбывной радости утра, посчитает меня сумасшедшим, всю дорогу станет беспокойно оглядываться, не зная, чего от меня ждать... Оно нам надо?

Мы лучше продолжим тихую игру с липами. Я совсем не против! Вообразим, что никогда листьям-живчикам не лежать безвольно на земле. Забудем о предуготованной им осенью судьбе — превратиться в ошметки забытого лета, истлеть под башмаками и шинами. Не станем думать о том, почему горделивая красота деревьев непременно обращается в перегной, который мог бы дать начало новой жизни, но здесь, на асфальте, бесполезен и лишь мешает чистюлям из коммунальных служб.

Давайте веселиться, перестав пугать друг друга известиями о том, что где-то в ближайшем Подмосковье сегодня, якобы, температура воздуха уже опускалась до минус четырех, а на почве отмечались заморозки. Пусть прекратят метеорологи и знатоки народных примет талдычить, будто это первое дыхание Великого Холода, который неотвратимо надвигается, который вот уже у самого порога... Впрочем, даже если и так, наступающий Холод пока только напомнил, кто повелевает страной, он пока только Холод-хозяин, а не Холод-опричник! Он пока злодействует у соседей, мы же продолжим беззаботно справлять торжество шикарного теплого утра!

Давайте не обращать внимания на то, что при глубоком дыхании изо рта идет парок, особенно заметный в лучах еще не остывшего, еще летнего солнца. Просто мы разгорячены ходьбой — вот и все. Да и парок-то легонький! Не сравнить его с теми клубами пара, что валят изо рта в февральские или январские морозы, когда каждый выдох, вырывающийся из измученной стужей, навечно озябшей и из последних сил гоняющей воздух груди, можно принять за предсмертный.

Сейчас, прозрачным августовским утром, мои легкие чисты, как у младенца, и по-богатырски дюжи. Они расширились до того, что едва вмещаются в грудную

клетку, дышат смело, даже с вызовом, словно кузнечные мехи. Они каждую свою альвеолу стремятся напитать озоном, запасаясь теплым воздухом впрок, и это бодрит до того, что не можешь надышаться. С опаской ждешь, что грудь вот-вот лопнет от переполнившего ее кристального воздуха, но все равно, не имея сил остановиться, закачиваешь в себя новые и новые литры кислорода. Рутинный физиологический процесс превращается в таинство, равное по значению таинству бытия, и доходит до тебя, что прервать его — смерти подобно. В самом прямом, суровом значении этих слов.

И этот-то респираторный триумф — в двух шагах от скопища газующих машин! Сколь же мощно веют озоном простые наши липы да березы!

Так и иду я той аллеюшкой, словно ступаю по створу на миг сомкнувшихся, но уже готовых вновь разойтись миров — самородного и машинного. Справа вознеслась живая стена лесов, слева чадят и скрежещут приземистые жестяные коробочки, а разделяет две вселенные черта, будто бы проведенная по гигантской линейке простым карандашом, — серенькая асфальтовая стежка, по которой шагает человек. Как далеко предопределено ему продвинуться по этой безжалостно резкой грани? Сколько отпущено ему времени, прежде чем доберется он до перепутья? А там ведь (мудри — не мудри!) придется выбирать... Одно из двух: либо обратиться к естеству, скрыться под мягко шелестящим пологом деревьев и раствориться в природе, либо запереться безвылазно в утробе одного из сердито рычащих механических псов, в чьих остекленевших, залитых тусклой пустотой глазах поминутно разгорается красный огонек затаенной злобы... Или, может быть, однажды ясным утром на исходе лета энергия космоса вдохновит какого-нибудь гения на мысль о необходимости и возможности конвергенции двух враждебных систем?..



Николай Макаров

(г. Тула)



В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Наш постоянный автор, лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова.

...Первый класс сельской школы.

Белоснежная рубашка, только вчера купленная матерью в Сельпо, опрометчиво оставленная без защиты снятого пиджачка; гвалт большой перемены, напоминающий многократно увеличенное Броуновское движение и...

И столкновение с Нинкой Ткачевой, моей соседкой по парте; вернее — не с ней, а с ее огромной пластмассовой чернильницей.

Результат, ясное дело, оказался до безобразия предсказуем: рубашка от ворота до ремешка брюк — вся фиолетовая; слезы на лице Нинки, размазанные испачканными ладонями, тоже фиолетовые.

В классе мгновенно устанавливается зловеще-звонящая тишина, нарушаемая всхлипываниями виновницы «торжества». Как же — испорчена рубашка сына самого директора школы. В еще несмышленных головах первоклашек возникают кошмарные видения наказания моей соседки — вплоть до исключения из школы.

Вместе со звонком на третий урок в класс входит моя мать — учитель математики старших классов, награждает меня увесистым подзатыльником — сам, мол, виноват, смотри куда летишь,— успокаивает уже рыдающую навзрыд Нинку, уводит ее из класса.

Через долгих десятков минут в класс, спросив разрешение, входит улыбающаяся, умытая, причесанная, с большой конфетой в руке моя соседка.

Со мной «разбор полетов» продолжался дома, в узком кругу. Впоследствии, что бы ни происходило в классе, что бы ни случилось — всегда оказывался виноватым сын самого директора школы — никакого спуска мне родители не давали...

...В нашем селе имелось две библиотеки: школьная и сельская в клубе. Если в школьную записался только с первого класса, то в сельскую стал ходить лет с пяти, беря по три-четыре книги за один раз. Библиотекарши, и сельской, затем и школьной, принимая такое обилие книг, постоянно меня — не только меня, а всех детей — просили рассказать содержание прочитанного.

Как-то раз в зимний день несу в сельскую библиотеку пяток книг и с ужасом замечаю, что не могу внятно ни вспомнить, ни прочитать название одной книги. И так, и сяк — не могу. По буквам — не могу прочитать. Не складывается никак — вот будет позора-то, если не назову названия книги, книжонки, по большому-то счету.

Открываю дверь библиотеки, выкладываю на стол книги и... как молния:

— П-е-п-е!..

...За три года (пятый — шестой — седьмой) английский язык в общей сложности в нашем классе преподавали максимум полторы четверти. Никто не хотел менять город на наше село.

Нет, приезжало-то много молоденьких училок. Кого-то заманивали романтикой сельской жизни, кто-то искал сельских женихов (не припоминаю случая подобных свадеб); кто-то отрабатывал обязательную «минималку».

Из всех «англичанок» в памяти осталась только одна, отрубив в пятом классе почти полную четверть. Вернее, в памяти остались ее незабываемые уроки «английского» языка.

Бросив классный журнал на стол, не проверив наличие учеников (надо отдать должное — со второго на ее занятия обеспечивалось стопроцентное посещение; даже больные приползали на эти уроки), она (училка — забыл, забыл ее ФИО) начинала рассказывать-пересказывать роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо».

А мы... мы разинув рты слушали — слышно как муха пролетит — приключения графа.

Закончив этот роман, училка начала новый (не помню, какой), но не успела пересказать его до конца — уехала в Город, в город Мичуринск.

Надо отметить, что ни «Графа Монте-Кристо», ни второй книги в наших — сельской и школьной — библиотеках, естественно, в наличии не предвиделось на долгие годы.

...В памяти всплывает зима: по Цельсию — ниже тридцати. Март пятьдесят третьего. Пятое число. Растерянные, осунувшиеся лица, красные флаги с черными лентами.

Мы (наша семья — отец, мать, сестра Татьяна и я) живем в деревне, вернее, в селе.

Село Ново-Тарбеево — в двадцати километрах западнее Мичуринска, на берегу реки Воронеж, в ту пору полноводной широкой реки.

Отец и мать — учителя. Окончили Мичуринский учительский институт. Мать (Макарова Татьяна Сергеевна) так всю жизнь и писала во всех анкетах в строке образование: «незаконченное высшее» (не среднее и не высшее), специальность — математика. Отец — после учительского, в пятидесятом заочно окончил Тамбовский педагогический (что автоматически подразумевало на пиджаке ромбик высшего образования — «поплавок»); русский язык и литература.

Март пятьдесят третьего. Начало месяца. Утопающие в сугробах дома. По улицам только санные следы, укатавшие дорогу до асфальтовой твердости («асфальтовая твердость» — тогда в селе такого и понятия-то не было; это из нынешнего времени такие ассоциации). Электричества нет и в помине. Вода в колодцах. «Удобства» — во дворе. Радио проведут только через несколько лет. На все село пять радиоприемников (громадные агрегаты с тяжелыми угольными батареями питания и антеннами на крышах; у нас был радиоприемник «Искра»).

Кто имел эти чудо-машины (по тем временам в сельской местности так оно было на самом деле): в сельсовете; в правлении колхоза (колхоз имени Ленина — середнячок-колхоз по всем показателям во все времена, но «железный» середнячок); в школе; у директора школы; у нас (отец в ту пору был уже завучем — вторым человеком в школьном табеле о рангах).

И у этих очагов культуры собирались все жители нашего села. Все!!! Даже женщины (сельские замордованные непосильным трудом бабы) с грудными младенцами. Все!!! Все внимали жутким, страшным словам диктора: «Умер Сталин»...

Умер Сталин...

И я этот день помню. Помню!!! Отчетливо помню этот день — было мне всего чуть больше пяти лет...

...Привезли в наш сельский клуб два кинофильма. Для детей (семичасовой сеанс) — советскую азербайджанскую музыкальную комедию «Аршин мал алан»; для взрослых (девятичасовой сеанс) — индийский фильм-драму «Бродяга», почему-то не для детей до шестнадцати лет.

На детском сеансе и тем более на взрослом на длинных зрительских скамейках на всех мест явно не хватало. Если детвора (часть зрителей), особенно не заморачиваясь, разместилась на полу клуба, то некоторые взрослые селяне приносили табуретки и стулья.

Как я, второклассник, ни упрашивал мать и отца взять меня на вечерний, для взрослых, сеанс, родители стояли стеной за нравственное воспитание старшего отпрыска. Да, по правде говоря, и контролеры на входе зря свой хлеб не ели.

Ах, как хотелось посмотреть этот индийский фильм, как хотелось. Но голь, тем более детская голь, и в нашем селе на выдумки была мастерица. Усевшись перед первым рядом скамеек около самой сцены на пол, мы, особо продвинутые пацаны, перед последними кадрами «Аршина» по-пластунски проникли на сцену за экран. На клубной сцене в дальнем углу находился люк в подвал. И в этом подвале, согнувшись в три погибели (высота подценного пространства не превышала шестидесяти-семидесяти сантиметров) мы, самые отчаянные, в половые щели смотрели что происходит на экране.

Естественно, мы ни хр... ничего не поняли. Тем более, не поняли, что же там было запрещенного для детей моложе шестнадцатилетнего возраста.

...В конце учебного года пошли четвероклассники с учительницей и пионервожатой на экскурсию с ночевкой в Староказинский лесхоз за семь километров от родного села Ново-Тарбеево.

К конечному пункту назначения шли ни шатко, ни валко — пришли к обеду. Пока осматривали окрестности и лесозавод, купались в реке Воронеж, ужинали, незаметно наступила звездная, безлунная ночь. И какой же четвероклассник уснет в палатках вдали от дома, даже — под недремлющим оком учительницы и пионервожатой. Всю ночь из палаток слышалась возня, галдеж, с периодическим броуновским движением пионеров и пионерок.

В результате, проснувшись, опередив даже первых петухов, наскоро собравшись, будущие пятиклассники чуть ли не галопом припустили на «зимние» квартиры. Припустили так, что учительница и пионервожатая еле за ними поспевали. Ворвавшись в родные, такие уютные, дорогие сердцу дома, налету перехватив молока с коврижкой, все, как один, завалились досматривать не досмотренные в Лесхозе сны.

Только Краденову, моему другу детства, отец на досмотр снов отвел каких-то минут двадцать-тридцать, заставив стеречь недавно отелившуюся корову с телятком на близлежащем лугу. Пригнав на луг животных, выбрав им участок с самой сочной травой, сам Толян, присев на пригорке, сморенный утренним солнцем, моментально включился на досмотр лесхозовских снов.

Корова с телятком, естественно, тут же отправились бродить по всему лугу, оставляя повсюду «блины» и «блинчики» от переработанной травы.

В это время — солнце почти в зените — купаться на речку (все тот же — Воронеж) шла ватага старшеклассников. Видя расхристанное тело будущего пятиклассника, а рядом — те самые «свежеиспеченные» коровьи и телячьи лепешки, недолго думая, забыв о купании, старшеклассники в ладони распластанных рук водрузили самые большие вышеуказанные лепешки.

Ладно бы — это. Но, сорвав две травинки, экзекуторы садистски защекотали в ноздрах храпевшего пастуха. Хлоп — одна ладонь с коровьей лепешкой размазалась по лицу у ничего не понимающего спросонья бедолаги-пастуха; хлоп — вторая ладонь повторила тот же маневр, что и первая.

У пастуха — слезы вперемешку с остатками коровьих лепешек, у окружающей ватаги — хохот на полсела.

...У каждого уважающего себя пацана имелась рогатка. Смастерил и я себе. Вышла, как бы сейчас сказали, — супер-пупер-перепупер.

Пострелял по банкам, пострелял по воробьям, пострелял...

Из-за соседского сарая «нарисовался» ровесник средней сестры Татьяны пятилетний Толян Грезнев. Недолго думая, прицелился и выстрелил в него.

Пулька — маленький камешек — угодила точно в лоб. Толян захныкал и убежал в свой дом. А я, со скребущими сердце кошками, с сельской ребятней отправился на речку.

Вечером, не сказав ни слова, мать, схватив меня за ухо, оттащила в дальнюю комнату. И... и стала меня охаживать ремнем с пряжкой куда ни попадя.

После этого злосчастного случая у меня пропало на всю жизнь (несмотря на мои четверть века в рядах Советской армии) всякое влечение ко всякому и всяческому оружию.

Хотя, надо отдать должное, инспекторские проверки по стрельбе из автомата всегда сдавал только на «отлично», стрельбу из пистолета — хуже...

...Школа. Двухэтажная деревянная сельская школа. В нашем наборе, наборе пятьдесят пятого года, было два первых класса и пять (пять!) десятых. По сорок и более человек в каждом классе. В нашу школу-десятилетку ходили учиться из пяти-шести соседних сел и деревень, где были только четырех— и семилетки (в то время выпускными классами были седьмой и десятый). Это только печально знаменитый «Кукурузник» влез и в образование своим грязным сапожищем — или ООНовским ботинком? — и сделал выпускными восьмой и одиннадцатый; я тоже попал под «раздачу» — единственный одиннадцатилетний выпуск в школе и «смерть фашизму» на вступительных экзаменах в институт, где конкурс среди школьников — восемнадцать с половиной человек! На одно место. Но что-то я отвлекся...

Мне в первом классе труднее всего давалось чистописание (был и такой предмет) — нас учили писать без клякс и помарок, ровным каллиграфическим почерком, выводя каждую букву, да что букву — каждую палочку, каждый крючочек несчетное количество раз. Кошмар! Адский труд! Чернила в чернильницах, обычно — непроливашках, зимой замерзали, а летом в эти чернильницы (у каждого обязательно непохожая на чернильницу соседа по парте) непостижимым образом попадали мухи; и если зазеваешься, не увидишь, что на острие пера вместе с чернилами на чистую, обычно только начатую тетрадь (за две копейки по двенадцать листов — в клетку, в линейку, в косую линейку), попадает эта муха — все! — начинай переписывать заново. За кляксу даже не ставили оценок — за кляксу оценка была ниже не только «двойки», но и «кола».

Поэтому клякса каралась переписыванием всего измазанного. Еще надо было следить, чтобы эта чернильница не перевернулась в портфеле — и пошла мода на мешочки под эти чернильницы, вроде кисетов (у девчонок, конечно, с вышивкой) для табака. И носили эти чернильницы в кисетах, привязанными в ручке портфеля (ни о каких ранцах, рюкзаках и тому подобному никто и вообразить даже не смел, не мог); и максимум, что грозило, при возможных потасовках (а как же без них — энергии-то во все времена в детском возрасте не меряно!) — это чернилами облитые мешочки. Не беда — переписывать ничего не нужно.

Со всеми потугами, со всеми напряжениями больше «четверки» по чистописанию мне не светило. Первая моя учительница — Чеканова Любовь Ивановна, как мне сейчас кажется, ставила такую для меня завышенную отметку только из корпоративной солидарности. Но по другим предметам у меня стояли «железные пятерки», из-

редка — «четверки». Нет, никакого снисхождения к сыну директора школы не было и в помине. Как сын директора школы мог учиться плохо? В те далекие времена, в селе, это был бы, как модно сейчас выражаться, нонсенс. Не поняли бы такое состояние дел — двоечник-троечник — сын директора — односельчане.

Простой пример. За всю учебу в школе (я в селе проучился до седьмого класса включительно) мать, преподававшая в нашем классе (с пятого по седьмой) математику, спрашивала меня только (!) тогда, когда я не был готов к уроку, не знал домашнего задания. Не выучил в силу объективных причин — прогулял вчера до позднего вечера. А кому как не родной матери знать о всех делах и проказах сына. И только тогда она меня и спрашивала. И безжалостно ставила мне «двойку», за малейшую запинку, за малейшую опisku (что-то ведь я знал — сын математички как-никак). Другим за такой ответ была обеспечена твердая «четверка», а за мой мне — «двойка». Исправлять эту «двойку» я мог не на следующем уроке (как обычно исправляли другие ученики), а только на контрольной работе, которые проводилась, по-моему, раз в месяц. Не исправленная к концу четверти «двойка» по математике автоматически убирала мою фотографию с пантеона лучших (отличников!) учеников школы. Поэтому с детства у меня такая тяга к математике и точным наукам (и поступал я вначале в Рязанский радиотехнический институт — но это уже другая история: всему свое время). Да, плюс еще книги Перельмана (мы их выписывали через «Книгу — почтой»): «Занимательная математика», «Занимательная физика» в двух книгах, «Занимательная геометрия», «Занимательная механика» — их я осилил еще до пятого класса.

Но математиком я не стал. А стал чуть-чуть писать, и сейчас чуть-чуть пишу. Хотя отец ни русский язык, ни литературу в нашем классе не преподавал. Но дома всегда писал стихи, отсылая их и печатая в газетах. И Маршаку писал. Не преподавал он мне азы литературы...

...Мать всегда (!), к каждому (!) уроку за всю свою педагогическую деятельность писала подробные планы уроков. Всегда! И кучи тетрадей. Кучищи! Монблан! Эверест! Тетрадей учеников — с домашними заданиями, с контрольными работами (к следующему уроку все должны быть проверены, с разбором каждой ошибки). И не у одного класса, а трех-четырех. Каждый день! Отец никогда планов не писал, черкнет пару строк — и готов к занятиям. Он, в основном, преподавал в вечерней школе (вечерняя школа — это после двух дневных смен, где занимались нормальные по возрасту ученики, по вечерам приходили те, кто не успел получить образование (семи — или десятилетки) в войну, в тяжелые послевоенные годы, т. е. простые советские колхозники разных возрастов (помните многосерийный фильм «Большая перемена»? Все точно так же происходило — только со скидкой на время и место). И он там тоже преподавал. На уроках его (как говорили ученики) слышно было, как летают мухи по классу, как вибрируют стекла в окнах от малейшего ветерка. Как жаль, что мне не пришлось учиться в его классе, хотя, по большому (!) счету, вся его жизнь для меня была уроком. Отца в школе не боялись. Нет! Мать боялись — на ее уроках тоже стояла тишина. Но... Другая тишина. Отца не боялись. Директора школы не боялись. Что такое директор школы в большом селе? В середине двадцатого века? Третий человек в сельской иерархии: председатель сельсовета, председатель колхоза, директор школы. А учитывая его военное прошлое, его орден, на всю округу всего два Красных Знамени, его высшее образование (по-моему, в те времена — только одно на весь колхоз) плюс его постоянное депутатство в Сельском Совете — непререкаемый авторитет среди сельчан. Со всеми бедами и радостями шли к нему со всего села. Занесет кого-то судьба из его выпускников с заоблачных высот (а для села того времени работа в Москве, служба в армии — большая высота!) в родные просторы, обязательно приходят к отцу.

И что характерно (по своей природе дети жестоки, безкомпромиссны в своих суждениях, их на мякине не проведешь), в школе у всех (до самого последнего сторожа) были клички, дразнилки, устный фольклор, своей безжалостной точностью и меткостью характеризующий каждого. В письменном виде это творчество появлялось везде (на стенах туалетов — естественно, удобства, как и во всем селе, на улице), на партах, на деревьях, на стенах классов и коридоров.

Еще раз повторю: у всех учителей (у всех!) были клички. У отца за всю его педагогическую деятельность никогда (н-и-к-о-г-д-а!!!) не было кличек. У него одного на всю школу. А может — и на весь район...

...Не знаю, как в других школах, но в нашей сельской десятилетке на втором этаже имелась «темная» комната — плотные черные шторы наглухо закрывали окна, не пропуская ни кванта света. Да и стены комнаты были покрашены черной краской. В этой комнате хранились две малокалиберные винтовки, патроны к ним и еще, что осталось в памяти, — человеческий скелет. Конечно, в этой, так называемой «секретной», комнате хранились и другие «интересные» вещи, но я запомнил только скелет, в дошкольном возрасте наводящий на меня суеверный страх, и винтовки. Из винтовок мы стреляли в школьном пятидесятиметровом тире, выкопанном старшекласниками, а скелет... Скелет, я не помню, чтобы его выносили из этой комнаты.

Да ладно, Бог с ним с этим скелетом — в одно прекрасное время, вернее, в одну, совсем не прекрасную, весеннюю ночь эти винтовки из той самой «темной» комнаты своровали, выкрали, стащили.

С утра не только в школе, но и во всем селе — переполох: кто и, главное, зачем украл эти винтовки? Милицейские сыщики со своим Джульбарсом, в один сек прибывшие из Мичуринска, весь световой день рыскали по селу, естественно, с нулевым результатом. Покончив с этим неблагодарным делом, они укатили писать протоколы.

Прошла неделя, вторая, третья...

Небольшое пояснение.

В нашем селе крестьяне обычно сажали на своем огороде (40 соток, а то и больше) картошку и подсолнечник. Кто-то еще выращивал табак (а не махорку, как «знатоки» в некоторых фильмах называют это растение), кто-то — лук, кто-то — чеснок. Кстати, за луком к нам приезжали на грузовиках аж (!) из самого Красноярска.

Так вот, как проходила уборочная подсолнечника на своем огороде: шляпка срелась серпом, оставшийся стебель наискось укорачивался тем же серпом и на оставшийся остроконечный отросток (коренюшка — на нашем сельском диалекте) насаживалась шляпка подсолнуха для просушки.

По прошествии некоторого времени (два — три — четыре дня) шляпки собирались, обмолачивались, сушились — и семечки, большие серые семечки — оказывались готовы для продажи в Рязани и Москве, куда мешками их возили мои земляки.

Высушенные шляпки зимой, предварительно вымоченные, шли на корм коровам, овцам и козам. Собранные коренюшки собирались с огорода, корни отряхивались от земли и все складировалось на кромке участка для дальнейшего (естественно, высушенные за осень и зиму) применения, как хорошее топливо для русской печи.

Теперь пора вернуться и к винтовкам. Тетя Дуня, проживающая в крайнем доме перед сельским клубом, очередной раз пошла за своими коренюшками для печи. Взяла охапку, взяла другую... и чуть в обморок не упала: одна винтовка с надпиленным стволом, вторая — в виде обреза...

...Кроме коренюшек печи у нас в селе топили «шишками», топляками, дровами и торфом, позже стали топить каменным углем.

«Шишки» — собранные граблями в сосновом лесу сами сухие шишки и сухие иголки. Всей семьей собирали такое топливо и всей семьей осуществляли погрузку

на телегу. Для этого по периметру телеги крепили трехметровые сляги (стволы деревьев диаметром десяти-пятнадцати сантиметров), «обвязывали» их ветками потоньше, и это, подобие огромной корзины набивали собранными ранее «шишками». Незаменимое топливо для самовара и русской печи, каковые имелись в каждой крестьянской семье.

Топляки — черные как смоль и твердые как сталь огромные стволы деревьев «доисторических времен» (иногда — более метра в диаметре и длинной до десяти метров), обнаженные после ежегодного половодья, откапывали по берегам реки, ручьев и болот. Кто первым увидел такой топляк, тому он и доставался; никто больше на него не претендовал. Топляки откапывали порой все лето, но дрова из него (топляка) получались, что твой антрацит.

Дрова — это, естественно, сухие деревья и ветки из леса, расположенного километрах в трех от села. С лесником расплачивались «жидким» советским твердым рублем, эквивалентному нынешнему «жидкому» доллару.

Торф — на опушке леса раскинулось огромное торфяное болото, на котором работала большая бригада, добывающая топливо в колхозные и сельские учреждения (сельский совет, школа, клуб, медицинский пункт, библиотека, правление колхоза и другие постройки). Селяне, в том числе и мы, также топили печку торфом. Привезут, бывало, машину-вторую торфа, выгрузят, а ты давай, только успевай раскладывать кирпичики сырца в «египетские» пирамиды для просушки.

Через пару недель высушенный торф переносился в сарай — семья к зиме готова.

Всему приходит конец, иссякло и наше торфяное болото, но цивилизация двигалась и в наше село: печи стали топить каменным углем, привозимым из Мичуринска. Вначале разжигали печку бумагой и лучинами, затем подбрасывали немного дров и в разгоревшиеся дрова кидали уголь. Тепло, уютно. Только вот от сгоревшего угля, в отличие от «шишек», дров и торфа, оставалось много шлака. Если зола шла на подкормку своего приусадебного участка, то шлак от угля использовался в качестве твердого «покрытия» сельских дорог и тротуаров...

...Все выборы, начиная от местных и заканчивая в Верховный Совет СССР, проходили в школе. Председателем сельского избиркома автоматически становился директор школы, то есть мой отец.

Как и в наше время, день перед выборами школьники не учились — классы школы готовились к завтрашним мероприятиям. Лучшие пионеры школы в этот день тренировались в приветствии голосующих, салютуя им пионерским приветствием, у празднично убранных урн.

В актовом зале (он же — зал для занятия физкультурой) проходили последние репетиции предстоящего концерта школьной художественной самодеятельности.

В день выборов отец — председатель комиссии — уходил из дома (до школы — сто метров) в пять утра и приходил домой на следующее утро тоже в пять часов.

С шести утра на присланных из колхозной конюшни пяти-шести санных экипажах, под залихватский свист возничих и истошный лай сельских собак, представители избиркома — обычно ученики десятого класса — начинали развозить миниатюрные опечатанные урны и бюллетени для голосования больным и престарелым сельчанам. К десяти часам собирались пионеры-активисты, попарно — пионер и пионерка — на пятнадцать-двадцать минут становились по стойке «смирно!» с обеих сторон от урны и, при подходе голосующих, приветствовали поднятием правой руки перед красной пилоткой на голове.

К двенадцати часам собиралось большинство голосующих — тогда и начинался для них концерт. Часам к двум многие колхозники, изрядно отметив праздник по старой русской традиции, под звуки нескольких гармошек орали на все село частушки-прибаутки. Под вечер все это выборное мероприятие оканчивалась — проголосо-

вало почти все население колхоза (почти 100%), но урны с бюллетенями — и стационарная и передвижные — вскрывались ровно в двадцать два часа для подсчета «за» и «против».

Подсчитывали до утренних петухов...

...Цирк!.. Цирк!!!.. Цирк!!!

Весной пятьдесят девятого, перед самым разливом рек, речушек, ручейков (половодье, паводок — для сельчан ежегодное стихийное бедствие, изоляция от города, от железных дорог), в Мичуринск приехал цирк-шапито. По книгам, по кинофильмам мы знали о цирке, но в «живую» в упор его никто не видел.

Мать достала (!) (и в те времена тоже что-то «доставали», «дефицит», одним словом) билеты в цирк для своего класса (она была классным руководителем 5 «А») и для меня, естественно, примкнувшего третьеклассника, нашелся один билет.

Добираться на машине до Мичуринска (двадцать километров по непролазной черноземной распутице) — верх безумия. Да и не ходили в это время никакие машины по нашему большаку; пешком эти же двадцать километров — тоже нереально. Выбрали альтернативный вариант: пешком десять километров (два часа взрослому по летней твердой дороге) до железнодорожной станции Никольское (на ветке Мичуринск — Грязи) и далее на пригородном поезде до конечной станции.

Энтузиазма — через край. Сил у всех — хоть отбавляй. Остатки сна (а уходили очень ранним утром) давно улетучились. Меня и девчонок по очереди везут на телеге (школа для такого неслыханного и грандиозного — впервые! — предприятия выделила гужевой транспорт: Константин с телегой и конюха Баева Алексея Тихоновича). Все рвались, как в бой, как в штыковую атаку.

Д-а-е-ш-ь!..

Все было рассчитано по минутам. Но, как обычно, как всегда, у нас, у русских, гладко бывает только на бумаге... А овраги? Переполненные грязевым месивом? А затопленные мостики через них?

Опоздали мы на пригородный поезд. Увидели только огоньки последнего вагона за поворотом. Это — крах! До Мичуринска по шпалам больше десяти километров. И силенок уже нет. И следующий пригородный поезд — через полчаса после начала циркового спектакля. Крах!!!

Пацаны притихли. Девчонки рыдали во весь голос. Про меня забыли. Мать куда-то пропала. Только Константин невозмутимо жевал сено, да конюх курил огромную самокрутку.

...И совершилось чудо (не только в цирке совершаются чудеса): через пятнадцать-двадцать минут (целая вечность! и более) к перрону пропыхтел паровоз («Овечка») с одним прицепным вагоном.

В Мичуринске от станции до базарной площади, где возвышалось это неземное чудо, это загадочное волшебство, это великолепие из мира Буратино и Мальвины, мы неслись как полоумные, как шайка грязных, мятых маленьких разбойников и... успели. Успели к третьему звонку.

Разговоров о цирке хватило на целый год. И потом, уже взрослыми, уже обремененные детьми и внуками, мы, участники той легендарной «Челюскинской экспедиции», первым делом вспоминаем о том (о том!) цирке. О волшебстве нашего детства...

...Нашу классную руководительницу Недобежкину Клавдию Васильевну с какой-то болезнью положили в Лавровскую участковую больницу, что от нашего села в пяти-шести километрах. Собрав «передачку», на велосипедах четверо шестиклассников попылили через лес к нашей учительнице. Где нам показали от ворот поворот — час назад выздоровевшую Клавдию Васильевну выписали из больницы.

Посоветовавшись, вы поехали на своих великах к ней домой — не съесть же и не выбрасывать наши скромные подарки, главное-то — участие, забота и внимание.

Лучше бы мы не ездили к ней домой.

У четы Недобежкиных (дружили семьями они и мои родители) была дочь, наша ровесница, больная какой-то непонятной нам, пацанам, психической болезнью. Передав нехитрый скарб Клавдии Васильевне, мы разом вздрогнули от нечеловеческого крика из соседней комнаты. Бедная учительница бросилась к дочери, а крики все усиливались, переходя в жуткие завывания, а нас... нас раздирал неудержимый смех. Не попрощавшись, мы пулей вылетели из дома, мигом оседлали велосипеды и помчались по своим домам.

Не сговариваясь, мы об услышанном и увиденном никому не думали и рассказывать. На первом же уроке по биологии — предмет нашей классной руководительницы — Клавдия Васильевна, собрав нас, извинилась за вчерашнее. Мы, естественно, покраснев до корней волос, также попросили у нее прощения.



Евгений Асташкин
(г. Омск)



НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Наш постоянный автор.

Пунцовеющие завитки сентябрьских облаков, нависших над кустистыми лесополосами вдоль железнодорожных путей, рождали у него ассоциацию с разворошенным букетом вялой мальвы на краю подоконника. Такая масштабная панорама на горизонте возникала лишь при нагромождении кучевых облаков — редком госте в здешних засушливых местах. В эти минуты Михаила что-то заставляло взбегать по приставной лестнице на высоту и, прислонившись спиной к гладко струганному фронту, празднично насыщаться перед сном видом догорающего дня. Позыв, привывавшийся к нему еще в школьные годы, до сих пор довлел над его созерцательной душой, словно это было так важно — ловить всякие мимолетности.

Сейчас он шел навстречу этому мареву, держа на прицеле двускатную крышу вокзальчика его степного поселка, который называть городом язык не поворачивался. Местными вполне осознавался тот факт, что статус города достался их скромной веси лишь благодаря тому, что рядом расположилась войсковая часть, численность которой приплюсовали к Типчаку. На веку Михаила поселок, бесспорно, не успеет перерасти самого себя. С нагрянувшей перестройкой и вовсе замерло всякое маломальское строительство, здешние ПМК и ДСУ с порядковыми номерами такими-то стали после оптимизации несуразно скукоживаться, иные вовсе обезлюдели, лишь осиротевшие начальники еще держали на всякий случай сторожей, которые ночевали в конторах, дабы их не принялись растаскивать по кирпичикам.

Летом на этих широтах смеркается очень затяжно, люд по домам уже доглатывал новостную программу «Время» единственного телевизионного канала, а улицы еще оглашались чьими-то задорными до дурашливости вскриками, трескотней лихого мотоцикла, бдительными па-па автомобильных клаксонов. Долго рядившийся дождик лишь скаречно пробрызгал пыльные улицы, но все равно задышалось полегче.

Михаила никто не провожал. Мать он не стал тревожить — зачем ей потом в сумерках тянуться домой на окраинную улицу? Хотя в свои семьдесят она выглядит на диво бодрой, но шаг уже не тот, ноги столь безбожно натружены огородом, что икры приходится при выходе на люди маскировать старомодными чулками даже в жару.

Пара стандартных лавочек из бруса, на одну из которых присел Михаил, покоилась под кленами вплотную к железнодорожной насыпи, перрон возвышался над головой. При прокладке рельсов этот вытянутый холм не стали сглаживать бульдозером, поэтому вокзальчик старомодной архитектуры с толстыми литыми стенами сидел в занижении и к нему спускался с перрона ряд ступенек.

Девятичасовой поезд до Ниваграда уже прошел. В сетке движения не значилось больше никаких пассажирских составов, кроме товарняков. Лет пять назад на радость аборигенам ввели еще и сумеречный одиннадцатичасовой маршрут. Через каждые два дня из тупикового областного центра Боксита прибегало нечто вроде электрички

в пяток вагончиков почтового вида. К ним пристегивался сквозной купейный вагон до Москвы. Это стало огромным облегчением. Раньше до столицы можно было добраться лишь из Ниваграда.

В такое позднее время на перроне почти никого не было, лишь дежурный милиционер и путеец с жезлом, который он обязан передавать машинисту. А вот и родимый составчик, притормаживая, резко осветил своим прожектором уходящие в бесконечность шпалы.

Проводник недоуменно взглянул на предъявленный билет до столицы: куплен в Боксите, а садятся здесь, на сотню с лишним километров дальше.

— Всегда беру там заранее в предварительной кассе,— шел своим долгом пояснить Михаил.— Зато без проблем. А тут пришлось бы заказывать...

— Понятно,— расправил упитанный проводник собранные в трубочку губы среди сизости проступающей щетины.— А то я уже хотел докладывать по линии, что в Аркалыке один пассажир не сел. Посчитали бы, что кто-то опоздал или передумал, хотя билет почему-то не сдал...

При Михаиле была наплечная сумка с провизией на три дня и баул — домашние разносолы гостинцем сестре, которая была старше его на целых семь лет. Он протолкнулся в пустой коридор купе. Еще на перроне разглядел, что окна прицепного вагона не светятся, за стеклами не видно никаких лиц.

Когда Михаил отодвинул дверь третьего купе, он к своему удивлению увидел, что там уже обосновалась тройца: старикан с плотным до скарелности прижимом узких губ и двое парней слегка за тридцать лет. Был включен лишь один плафон под потолком, поэтому свет такой тусклый. А штора на окне задвинута, вот и показался Михаилу весь вагон необитаемым.

— Потесню вас малость,— извинительно произнес Михаил.— Такое уж место выпало по «лотерее»...

Пассажиры никак не отреагировали на это подобие шуточки, а один из парней все же с подтекстом спросил:

— Вы куда?

— До самого конца.

Такой ответ, видно, не особо порадовал заселившихся ранее, они вынужденно молчали, смирившись, что сразу же придется делить купе с посторонним.

— А вы? — в свою очередь поинтересовался Михаил, тоже с тайной надеждой, что не до самого конца ему попутчики.

— Тоже до Москвы...

Значит, все трое суток не будет смены лиц и декораций...

Михаилу досталась верхняя правая полка. Уложив вещи в вагонный рундук, он взял у проводника стопку вкусно пахнущих хозяйственным мылом постельных принадлежностей и с обезьяньей ловкостью закинул наверх свое поджарое естество, чтобы не стеснять других. Попутчики, сгрудившись внизу у столика, железобетонно отмалчивались, даже между собой перебрасывались лишь незначительными фразами. Михаил прикидывал, где же они сели? Явно не в Боксите — не чувствуется городского лоска. Еще две мелкие промежуточные станции тоже можно отбросить. Там редко садятся, поезд останавливается буквально на мгновение в два-три вдоха. Значит, из Тастау. А он в этом соседнем райцентре отработал четыре года после университета. Поселок совсем крохотный, просматривается из конца в конец. Многие там примелькались, но эти лица ему не знакомы. Впрочем, с той поры прошло уже десять лет, может, эти перебралась в Тастау из какого-то отдаленного села...

Был бы на месте знакомый проводник Захар, у него можно было бы навести справки. Но сейчас не его смена.

Задний вагон шел неустойчиво и в такой короткой сцепке. Через пару остановок на Узловой их прицепят к другому поезду, опять в самый хвост, будет бросать из

стороны в сторону еще ощутимей — даже не почитать книжку. Прежде он пробовал это делать, но чуть не вывихнул глаза.

Глубоко за полночь на Узловой их отцепили, и маневровый паровоз потащил вагон по лабиринту боковых ответвлений. Они оказались далеко на околице. Когда маневровый отцепился и уехал, попутчики настропалились на улицу. Михаил тоже поплелся следом. По очереди спрыгнули с высоко задранной подножки на гравий, ощутимо отбивая пятки. Кругом непроглядно, лишь в отдалении желтые квадратики окон и мерцающие грозди столбовых лампочек. Неуютно до озноба, так и кажется, что сейчас откуда ни возмись вывернется из кромешной тьмы этакий полосатый Попандупуло и начнет тыкать всем в живот плохо заряженным маузером: «Ну-кошь, что там интэрэсного у ваших баулах?..»

Пробивающие душу голоса из рупоров, делающие их совершенно беспольми. Остро чувствуешь свою незащищенность, словно мимо тебя, несмотря на страдную пору, пролетают снежки, рождая позыв вернуться от них. А тут еще и потянуло из-под колесных пар злющим сквозняком.

Некомпанейские попутчики лениво покуривали, переминаясь с ноги на ногу под нескончаемые диспетчерские перелайванья. Все знали, что гонять по путям этот прицепной вагон будут почти до утра. Лишние пять с половиной часов вынужденного простоя, из-за этого путь до столицы растягивается на целых трое суток. С приплюсованием обратного пути почти неделя вычеркнутой жизни. А куда денешься? С пересадками добираться было бы еще муторней из-за того, что придется томиться в нескончаемой очереди, чтобы закомпостировать свой билет.

Попутчики не изъявляли ни малейшего желания общаться со свалившимся на их голову Михаилом, что было довольно непривычно. Чаше приходилось наблюдать, что в пути успевают сдружиться, иной начинает загружать тебя разными историями — не отмахнуться. Сейчас больше никого в целом вагоне, а от него старательно отворачиваются. Старый дядька, как стало ясно, отец этих двух парнишек. Они помладше Михаила. Папаша словно плющит каждое словечко неисправимо поджатыми губами, едва-едва выпархивает оно на волю, нещадно деформированное.

Народ начнет набираться после Узловой, когда пойдут более крупные города. Михаил, в одиночестве челноча от нечего делать вдоль вагона, вспоминал этот затрапезный райцентр Тастау. Даже его сосед по улице Мартын, с которым учились в одной школе, а теперь он гонял в рейсы на автобазовском ЗИЛе, при упоминании об этом местечке поделился с другом детства: «Когда я проезжаю мимо этих Тастау, где ты «бичевал» несколько лет, у меня такое чувство, будто в яму проваливаюсь. Даже эти мелкие разезды с элеваторами не действуют так угнетающе...»

Действительно, типовые двухквартирные домики Тастау из оштукатуренных щитов уныло тянутся в полукилометре от трассы, за нещадно истоптанным, колеистым полем, на котором в жару быстро выгорает всякая былинка. В распутицу там не пролезть даже в резиновых сапогах из-за вязкой глины. Населенный пункт излучает привлекательность на щедрые ноль с минусом. У съезда с трассы громоздится паспорт — железные буквицы на таком же массивном бетонном постаменте. Маячит сие на фоне сплошных пахотных полей без единого деревца, сбоку тянется занижение урочища, пригодное лишь для выпаса скота. Проезжающим, небось, кажется, что эта непомерная железная конструкция собирается идти на таран.

Галька промеж железнодорожных путей увязливо шуршала под ногами приунывшего Михаила. Бессмысленный моцион перед сном...

Проводник высунулся и затейливо кинул с верхотуры:

— По нарам! Сейчас опять начнут мотылять. А то будете потом играть в догнялки...

Снова в обжитом купе защелкнулась дверка. Маневровый приятельски чокнулся тарельчатыми буферами с бесхозным вагоном, и снова началось — туда-сюда. Изло-

манный свет от фонарей постреливал сквозь щель в занавеске, отражаясь в зеркале. Гомонящие рупоры то усиливались за окном, то ослабевали при удалении. Все четверо улеглись на свои места, потушив светильники у изголовья.

Лишь к утру все это сложное бродяжничество по многочисленным веткам угомонилось. Сквозь сон было слышно, как по купе зашаркали ноги свежих пассажиров из Узловой.

Когда Михаил разлепил глаза, его попутчики уже завтракали за столиком. Он не стал слезать, потом сам перекусит на скорую руку. Тем более, что никто хотя бы из вежливости не предлагает присоединиться.

Наконец очередь дошла и до него. Он ловко спрыгнул вниз, ювелирно рассчитав траекторию, чтобы не зацепить никого. Земляки с явным удивлением покосились на него — акробат, что ли? Да нет, просто надо дружить со спортом и поменьше вредных привычек. В рамке окна пестрели уже более веселые акварели: сочные перелески, перемежаемые равнинами с добротными домиками вдоль падей.

Михаил достал из сумки тетрапак с минералкой, пару вареных яиц и бутерброды. Один из братьев, по виду старший, крутанул ручку радио — полилась бодрячковая музыка с краткими дикторскими вставками. Соседние отсеки теперь наглядно сигнализировали о своей заполненности детскими восклицаниями, гулом разговоров, чьей-то гитарной секвенцией. Михаила немного задевало за живое, что попутчики не торопятся с ним панибратствовать вопреки неписаным дорожным обычаям, когда можно за трое суток так сдружиться, что и адресок дадут на прощанье: мол, милости просим в гости при случае. Вдвойне обидно, что они одни здесь опоясаны обязывающей нитью землячества.

— Вы, как я понял, из Тастау? — не выдержал Михаил.

Старикан что-то гукнул, вроде бы утвердительно.

— Я там тоже отработал четыре года,— объявил Михаил, уверенный, что сразу зародятся вопросы к нему. Но эта новость никого не заинтересовала, с ним попрежнему не торопились завязывать тары-бары.

Закончив трапезу, он смахнул отходы на газетный листок, все вместе скомкал и понес к мусорному баку. Когда вернулся, увидел, что место у столика занято с обеих сторон. Видимо, ему весь путь придется сидеть в сторонке. Насытил глаза проплывающими за окном березками и решил продолжить начатую тему о родном поселке попутчиков, а то как-то все оборвалось на полуслове.

— В Тастау была спецкомендатура, и меня поначалу подсадили прямо к «химикам», больше некуда было пристроить,— сам себе усмехнулся Михаил при воспоминании сего курьеза.— В общем-то, было спокойно, все условно освобожденные, а загремели по мелким статьям: воровство, хулиганство, иные просто по собственной глупости. Работали на стройке. Досиживал там свой срок и один старый цыган, к нему перебралась вся семья. Он все присматривался ко мне и вдруг спросил, хотя среди зеков это не принято: «Никак не могу сообразить, паря, за что же ты сидишь?» Рассмешил дядька, нечего сказать. Я ему объяснил, что после универа тружусь в редакции, а сюда поселили временно. Сам-то цыган сидел за кражу лошади, это всем было известно...

Попутчики деланно усмехнулись, но ничего не стали добавлять в поддержку своеобразной темы. Михаил решил продолжить:

— Так и прожил среди зеков два года, пока не отремонтировал себе заброшенную клетушку в почтовой общаге. А вот на днях я проезжал мимо Тастау на поезде, стал рассматривать в окно тот участок, где спецкомендатура, она рядом с железной дорогой. И вдруг вижу сплошной пустырь, все четыре барака снесены, даже следов не осталось. Значит, больше не сылают туда зеков...

Он стал переводить взгляд с одного на другого. Старший, по всей видимости, парнишка в джинсовой куртке нехотя ответил:

— Да мы не из райцентра. Живем рядом, в Жанадале...

Этот крохотный совхоз, насчитывающий всего шестьсот с небольшим жителей, находился в километре от райцентра — через пустырь, по которому не раз хаживал Михаил, чтобы взять у кого-нибудь из сельчан интервью для местной газеты. Знал наперечет всех передовых скотников, трактористов, доярок. Был там и единственный в районе герой соцтруда — механизатор широкого профиля Варзаинов, о ком помещали в газете целые очерки на всю полосу. Но этого папашу двух сыновей Михаил никак не мог припомнить, видимо он отнюдь не числился в списке передовиков.

Теперь Михаил решил обращаться непосредственно к старшему из братьев, лишь тот хоть что-то ответил. Продолжил погружение в воспоминания:

— Помню, одно время на «химию» прямо пачками стали присылать горячих сынов солнечной Грузии, все молодежь. Они толпами бродили по райцентру, затевали драки с местными. В нашей типографии работали две девчонки — линотипистка Ленка и печатница Валька. Знали таких?..

— Конечно,— неожиданно споро откликнулись сразу оба парня.

— Кручеными, однако, оказались девки,— вставил Михаил.

— Да уж,— поддакнул старший и все-таки расщедрился на кучку комканых слов: — Мы с ними пошатаемся по улицам и уже ночью проводим до самого дома. Потом в два часа ночи выйдешь покурить, а на трассе опять чей-то знакомый смех — в такое-то время. Приглядишься, а это наши девчата уже с грузинами. У нас — вот такие болты!..

Старший парень приложил к глазам скругления пальцев в виде очков,— как могут расширяться зенки от удивления.

Больше в этот день общие разговоры не клеились. Братья выходили на остановках размяться, покуривали в тамбуре. Михаил заметил, что в купе при отлучках обязательно кто-то один из семьи оставался. Понятно. Все опасаются за свои вещички, хотя Михаил считал, что после таких свойских рассказов он находится вне всяких подозрений.

Ему хотелось расспросить ребят про эту оторву Вальку. Когда его поставили ответсекретарем в той газетке, что издавалась в Тастау, он стал буквально пропадать в типографии — пока не подпишут очередной номер. Коллектив постоянно менялся, приходилось набирать новых работников из числа вчерашних школьников, обучать их с азов верстать, резать бумагу на станке, печатать. Сугубо женское окружение, сильный пол не стремился на столь нудную и вредную работу. Там и приглянулась Мишке молодка, новая печатница Валентина. Небольшого росточка, но плотно сбитая. Резкая на поворотах. Излишком интеллекта явно не страдала, так как покинула школу после восьмого класса. Совершенно никак они «не корреспондировали» друг другу, если вспомнить хлесткое дореволюционное выражение. Просто у Мишки разыгрался на нее аппетит. Она сразу же заметила это, и все время ершилась, вознамерившись определить его под каблук, и никак иначе.

Михаил вспомнил, какие заоблачные требования пыталась предъявлять ему эта оторва, будучи еще совсем зеленой. При этом каждый раз заботливо готовила для него очередной наборчик изящных язвительностей, всерьез полагая, что это придает ей больше шарма. Вознамерилась отхватить приличные дивиденды? Вот и хорошо, что у них ничего не сладилось. Ему не раз приходилось наблюдать, как иные пары со всей изобретательностью, достойной лучшего применения, прилюдно соревнуются во взаимных колкостях, а оно ему надо?..

Теперь его так и подмывало выведать некоторые подробности. Включился в уме сравнительный анализатор,— действительно ли можно добиться чего-то существенного в жизни и мягко устроиться с таким арсеналом вероломных штучек, какой был на вооружении у его давней знакомой? Вскоре после того, как он уволился из той редакции, типографию закрыли, а газету стали печатать в областном центре. Валька

перешла работать на заправку, видел ее однажды проездом в окошке будки на окраине Таастау.

Под вечер задал парню в джинсе наводящий вопрос относительно этой девицы. С горем пополам почти клещами вытянул кое-что: Валька сошлась с каким-то приезжим. Работал грузчиком на элеваторе. Пустили его к себе примачком. А через какое-то время он поехал якобы в гости к родственникам в Калининград и испарился. Так тщательно прячутся только от алиментов...

Прицельные заемные остроты Вальки прямо в темечко Михаила. Даже для уха болезненно, а ему довелось обитать в таком окружении, когда каждая клетка организма испытывает давление торжествующей опошленности незнамо для каких целей, просто так — для минутного куража. Одна, — он лицезрел на своем пути и таких, — сидя на лекциях в аудитории, любуется магическими квадратами, способна испытать умственное удовольствие даже от осознания математического курьеза, что квадратный корень из ста невозможно извлечь, другая условно невестящаяся молодка в тот же самый момент переполнена куражливостью, как самоцелью, ей лишь бы сморозить что-то позабористей. Вот и сравнивай...

В общем, ничего в жизни этой бывшей печатницы коренным образом не изменилось. Все так же сидит за форточкой на заправке.

С тех пор Таастау пришел в полное запустение. Колонки не работают из-за того, что сгорел насос. Воду подвозят на приватизированных водовозах частники и раздают ведрами. Огород теперь на разведешь, воды хватает лишь на готовку и стирку. Поговаривают, что собираются сокращать этот район как неперспективный. Это значит, что опустеют все административные здания, все организации с ведомствами: милиция, местная стройконтора, баклаборатория, редакция и все прочее. Народ побежит, кто куда, останутся лишь те, которым деваться некуда. Если Боксит напоминает теперь площадку для съемки фильмов ужаса, — целые микрорайоны зияют выбитыми окнами многоэтажек, — чему еще удивляться? Этот областной центр тоже собираются упразднить, а их район присоединят к Ниваградской области. Уже была дискуссия по краевому радио.

* * *

Большой частью Михаил полеживал на полке, чтобы не мешать семейству, вдруг и старому захочется растянуться на своем лежаке. Размышлял, как же ему перебраться в Подмосковье — поближе к сестре. Только скопится что-то более-менее весомое, начинаются обмены денег, после которых все прирожденные обыватели оказываются в банкротях.

За что только не хватался Михаил, когда стали надвигаться ломкие времена. Проводил дискотеки, озвучивал свадьбы, открывал видеосалон. Он искал надежного заработка, но буквально все его начинания через определенный промежуток времени сходили на нет. Дискотеки приелись, молодежь поголовно накупила носимых магнитофонов, и на свадьбах теперь обходились без его довольно громоздкой аппаратуры. Сначала во всем поселке было два-три видика, которые стояли в пол-Москвича, а через пару лет они подешевели и появились во многих семьях. Видеосалон стал не нужен — все обменивались друг с другом кассетами.

Фотографией Михаил сначала занимался просто для себя. Загадал стать настоящим профессионалом. Перебирал самые разные комбинации растворов, добываясь предельной четкости снимков. Но секрет таился не только в этом. Однажды, прогуливаясь по Москве, где он проводил каждый свой отпуск, увидел на одном здании близ Публичной библиотеки загадочную вывеску: «Особо чистые вещества». Заинтригованный этим, заглянул внутрь, помещение оказалось не очень просторным, везде витрины с пакетиками, коробочками и пузырьками из затемненного стекла. Спро-

сил у продавщицы, есть ли что-нибудь для фотографии, ему указали на застекленную тумбу. В ней было разложено то же самое, что он применял: метол, гидрохинон, сульфит натрия. Только все в другой упаковке и ценник в десять раз весомей. Отчего такая дороговизна? Пригляделся к надписям и увидел, что процент очистки даже обычной технической соды просто запредельный. Накупил всего для пробы. Попутно запасся дистиллированной водой. А потом, когда проявил пленку и сделал отпечатки, сам ахнул, насколько они оказались ясными.

У него стали появляться заказы, так и втянулся, потом освоил и цветной процесс. Химикатов нигде не было, приходилось мотаться в Москву, где в «Зените» временами выбрасывали все необходимое. Если собрать воедино все его наезды, получится, что он прожил в столице уже около двух лет.

Когда попал под сокращение, думал, что его бесценные навыки будут кормить до самых последних дней. Он был нарасхват: свадьбы, утренники, похороны, фото на документ. Но недавно на последнем звонке в селе Пригородное, куда он мотался на велосипеде, его здорово «подкузьмили». Едва начал фотографировать, как очередь стала выстраиваться у одного верткого девятиклассника с «Поляроидом». Тот целкал и тут же выдавал готовые снимки по двести рублей — в три раза дороже, чем у профессионала. У Михаила, конечно, тоже был такой «Поляроид», но он даже не захватил его с собой, считая, что мало кому будут нужны крохотные картонки, на которых ничего не разглядеть по существу. Это подсуетилась завуч школы, надоумив своего сыночка тоже включаться в бизнес. Он сразу выдает снимки, а у другого фотографа еще надо ждать с неделю, когда он отпечатает их.

К тому же Михаилу все чаще стали задавать вопросы, не может ли он снять на «Кодак»? В Ниваграде открыли пункт печати и проявки импортных пленок, это обходится дешевле. Скоро массово обзаведутся дешевыми китайскими «мьльницами» и каждый станет сам себе фотограф. А если и в Боксите откроют такой сервисный пункт, то Михаил навсегда потеряет кормное дело, ведь до этого областного центра меньше двух часов на автобусе. Логичней было бы радоваться стремительному развитию технологий, но можно понять и озабоченность того, чьи навыки и знания, добытые неимоверным упорством, стремительно обнуляются. В крупном городе можно хоть за что-то зацепиться, а в провинции пропадай, так у нас устроено. Размножившиеся, словно грибы, кооперативы через пару лет извели непомерными налогами — все до единого позакрывались. Воцарилась одна перепродажа...

Даже часовщик быткомбината, чья застекленная будочка в гостиничном вестибюле за двадцать лет стала местной достопримечательностью, в одночасье потерял работу. Если он за месяц чинил не больше пары будильников, все равно исправно начислялась зарплата. Выброшенный в стан безработных, стал искать новое применение своим рукам. Услышал краем уха, что в Ниваграде сколачивают бригады по отделке современным пластиком всех зданий в центре, и сагитировал целую толпу таких же бедолаг. С предвкушающими лицами двинулись на заработки. Часовщик изредка заскакивал домой, но алчущая родня никаких таких капиталов не обнаруживала при нем, его лишь авансировали мелочью, едва хватающей на пропитание. Всю оговоренную космическую сумму обещали выплатить по окончании работ. Потом подрядчик аннигилировался, не нацарапав прощальной записки; все как на подбор доверившиеся остались с носом. И вот Михаил натывается на невеселые виды: часовщик то помогает очередному предпринимателю прибавить вывеску на новом магазинчике, то подметает тротуары.

Теперь Михаила точит лишь одно — как бы ему тоже не остаться на бобах в своем захолустье. Здесь все продвижения теперь только по землячеству. Очутившемуся на дне не позавидуешь. Замешкает — и его ждет блестящая перспектива оказаться на побегушках у какого-нибудь местного заправилы.

Вот и надо накопить мал-мал, чтобы обосноваться в каком-нибудь скромном

пригороде Москвы — поближе к родным. Неплохо бы осесть в Апрелевке, там огромный завод грампластинок. Его, наверно, перепрофилируют под выпуск компакт-дисков. Вот и собрался опять за наборами химикатов. С некоторых пор на Казанском вокзале обосновались таможенники, проверяют сумки у отбывающих. А у него набирается прилично багажа. Увидят сотни пачек фотобумаги в огромной китайской плетенке — сразу завернут. Нельзя. В таких случаях выручает проводник Захар, сам проносит в свой отсек все это, якобы для себя. Не за спасибо, конечно...

На вторые сутки пути Михаилу опять не терпелось поподробнее расспросить о том местечке, куда его заносило судьбой. Интересно все-таки. К тому же оказалось, что Валька встречалась и с этими братцами. А потом с подругой шла к южанам в зекковский барак. Не зря про нее ходила темная молва. Знакомые удивлялись, почему он так «запал» на эту вертихвостку? Взбесилась тогда, когда он ей намекнул о двурушничестве. Вынашивала планы отомстить самым изощренным способом.

— Ну, у тебя-то все благополучно в семейном плане? — рискнул вторгнуться Михаил в личную жизнь старшего из братьев.

— Какой там! — махнул он рукой. — Развелся...

— Значит, тоже все в прошлом. Просто наваждение: кого ни спроси — каждая вторая пара успешно разбежалась. Почему-то чаще всего по одной и той же причине. Когда все вылезает наружу. А в вашем случае как выяснилось, если не секрет?..

Мишка не сомневался, что и здесь задействован тот же сценарий.

— Сама все выложила, — коротко отпечатал тот.

— Как это... на исповеди?..

— Прижал хорошенько — сразу запищала. — И прибавил с каким-то зловещим оттенком: — Они меня знают! Со мной лучше не связываться!..

Михаил старался приглушить радио, спасаясь от невыносимо приевшихся песенок, но едва выходил из купе, громкость снова добавляли, чтобы терзало уши в тысячу энный раз неубиваемое «Я уеду в Комарово», где почему-то подчеркивается, что этот вояж всего до второго числа (чтобы в рифму?), а месяц таинственно неизвестен.

Отстучала на стыках уже первая половина пути, состав медленно проехался по длинному мосту через неохватную волжскую ширь, а соседи снова словно отделились от земляка шершавым забором. Если в прежние времена все попутчики еще не отливавшей молодости запросто представлялись друг другу по именам, то эти земляки упорно соблюдают инкогнито.

Михаил предпринял последнюю попытку растопить лед отчужденности:

— Мы вчера вспоминали Валуху. Так вот, она мне устроила хорошую каверзу. Из-за нее вся моя жизнь могла покатиться кувырком. Нисколько не преувеличиваю. Когда она достала меня своими фокусами, я ей дал понять, что пусть поищет другой объект для своих штучек-дрючек. Надоело все до чертиков. И она в отместку подстроила отменную провокацию. Это я сразу понял, когда меня возле местного клуба внезапно остановила до предела накрученная тройца и повела в кочегарку — «поговорить». И сразу же предьяву, будто я распространяю про этих молодцов шибко нехорошие слухи. Я их знать не знаю, а они так взбеленились, у всех перекошенные лица — покусились на их имидж самых крутых...

Парни замерли на Михаиле напряженным взглядом, внимая каждому слову.

— Особенно дергался один. Размахнется, словно хочет перебить мне горло, кивает на здоровяка соседа, который якобы занимался боксом и может любого вырубить с одного удара. И все наперебой кричат мне в лицо: «Не веришь? Не веришь?» Тут до меня дошло, что моя жизнь действительно висит на волоске. Могут грохнуть ни за что ни про что. Я мгновенно сконцентрировался и приготовился к отпору. Это именно та ситуация, когда если не ты замочишь, то тебя точно распнут. Волчье чутье подсказало бы мне, когда этот молодец размахнется уже для настоящего разящего удара. Тут же прикинул: мгновенно перебиваю этому горло и сразу ногой в пах боксеру.

Кулаками с таким бугаем бесполезно, у боксеров реакция автоматическая. Ну а цыганистый кочегар сам отскочит в сторону со своей лопатой, увидев такой оборот. Сразу в дверь и бегом — сдаваться в милицию. Потом бы парился на нарах со своим высшим образованием...

Михаил сглотнул горький комок от таких корявых воспоминаний и уже доведением:

— Слава богу, все разрулилось бескровно. Я потребовал привести сюда того, кто на меня так наклепал: «Пусть все повторит при мне!» Знал, что не потащат сюда этих типографских девок. Дружки, видно, поняли, что я совсем «не при делах», и отпустили меня. И буквально через месяц тот взвинченный парень со своим младшим братом зарезал одного человека. Вечером на трассе остановили самосвал и потребовали, чтобы шофер вылез из машины — им, видите ли, загорелось покататься. Тот уперся и получил удар ножом прямо в сердце. А парни преспокойно сели в машину и всю ночь катались, пока утром им не заломили руки. Потом весь поселок гудел. Так что я всерьез рисковал в кочегарке, вполне могли и меня отправить к праотцам, если бы сразу принялись метелить — без всяких объяснений...

Михаил, выговорившись, откинулся к стене. Братья как-то сразу засуетились, полезли в карманы за сигаретами. Вышли в тамбур. И тут Михаила словно пронзило током. Да ведь те братцы были тоже из Жанадалов! И по возрасту как раз подходят...

Отец парней сидел за столиком с каким-то кислым лицом. Михаил пристально посмотрел на старого, и у него интуитивно вырвалось с каким-то напором:

— Как ваша фамилия?

Старик забегал глазами, но с видимой вынужденностью выронил из ротовой щели до предела изжеванную фамилию. Михаил все же разобрал — Витухновский. В самую точку!

— А-а,— закачал он головой, когда в ней все прояснилось — в ослепительном свете электрической дуги. И потом машинально переменялся на более глухую букву: — М-м...

Он едва остановил это нестерпимо длящееся междометие — от внезапного открытия. Старик мог выдать выдуманную фамилию, но по его вопросу сразу понял, что это уже бесполезно.

Ну и ситуация! Михаил только что рассказывал этому старшему,— а звать его Роман, вспомнил,— о нем же самом. О том, как он сам готовился опередить и замочить его, если ситуация выйдет из-под контроля. Значит, отсидели уже. Быстро же, еще совсем не старые, что называется, в расцвете лет. Того шофера закопали, а они как огурчики, едут развлечься в столицу. Его знакомые были на том суде, рассказали потом, что старшему брату дали десять лет, а младшему шесть — за то, что был рядом и не попытался предотвратить преступление. Даже вместе потом раскатывали на отобранном самосвале...

То-то заскрежетало на душе у Михаила, когда он расслышал скрытую угрозу в словах этого Романа: «Они меня знают!» Видно, держит себя в Жанадале этаким паханом. Не узнал его сразу, видел-то один раз в жизни — в полутемной кочегарке, где затеяли ремонт. Да и столько времени прошло с тех пор...

Михаил не придумал ничего лучше, чем забраться на свою полку и отвернуться к стене. Он не знал, как дальше вести себя. Как после этого ехать вместе с убийцами в одном купе? Старик покряхтел и тоже вышел в коридор. Впервые Михаила оставили одного в отсеке.

Вернулись попутчики лишь через час. Непонятно, где прохлаждались, может, ходили в вагон-ресторан. Папаша, конечно, поставил своих отпрысков в известность, что они полностью «раскрыты». Недаром отмалчивались всю дорогу. Думали, что так и доедут до самой столицы неопознанными.

Разговаривать больше было не о чем. Михаил буквально мучился: «Скорей бы

уже доехать!» Прикидывал, сколько же осталось до Москвы? «Так, шесть плюс одиннадцать... Семнадцать часов. С ума можно сойти за это время!..» Была бы смена Захара, попросил бы перевести в другое купе, где освободилось место.

Старший, теперь уже обретший имя Романа, потянулся к своей сетчатой полочке сбоку верхнего левого лежака. Достал барсетку и принялся в ней рыться. Вынул кожаное портмоне, открыл и тщательно пересчитал купюры.

Михаил зябко поежился: оставляли вещички без присмотра, а там ведь и деньги, теперь перепроверяют.

— Ничего не понимаю, — вдруг занервничал Роман, — куда делась моя бумажка?..

Михаил насторожился. Только этого еще не хватало! Может, ищет какой-то важный документ. Бумажка... Что, Михаилу не с чем сходить в туалет? Прихватил с собой рулончик... Бумажка!..

— Исчезла, и все тут! — не на шутку запсиховал Роман.

Полез под нижнюю полку. Выдвинул спортивную сумку и стал резкими движениями выгребать из нее содержимое.

— Как сквозь землю провалилась! — нагнетал рышущий обстановку.

Не обнаружив искомого, он в слепом изнеможении бухнулся на койку, его словно колотило.

— Я же точно помню, что она была в моем бумажнике!..

Это уже походило на вызов. Михаила принародно выставляют грязным воришкой, ведь он один оставался в этом купе целый час. Вон уже и младший как-то криво косится на него...

Что делать в таких случаях, ума не приложить. Вызовут сейчас проводника и станут перетряхивать вещи Михаила? Выворачивать его карманы? Как назло, незнакомый проводник, Захар бы постарался приструнить этого разошедшегося Романа.

А вдруг он опять бросится в драку?..

Михаил тупо молчал, на этот раз он действительно пребывал в полном ступоре. Он даже не представлял, что сейчас начнется...

Роман еще раз развернул свой бумажник и радостно выкрикнул:

— Вот она, оказывается, была за подкладкой!..

* * *

Потом Михаил до самой ночи томился в неудобном коридоре, то смотрел отсутствующе в окно, то примащивался на откидном сиденье. Было очень неудобно, пассажиры сновали мимо: то за чаем, то в тамбур. Один даже облил его кипятком, когда вагон качнуло. Он здесь всем мешал, иные косились на него недоуменно...

Да, надолго он запомнит эту поездку. Пришлось соседствовать с такими отморозками...

Когда поезд, поплутав по окраине Москвы, остановился под навесом Казанского вокзала, Михаил дал возможность землякам выйти с сумками первыми, а следом быстро собрал свои манатки.

Земляки почему-то до сих пор в одиночестве стояли на раскаленном перроне. Теперь посматривают на него. Их никто не встречает. Должно быть, запаслись путевками в какой-нибудь загородный пансионат.

Сделал пару шагов по бетону и опустил у своих ног тяжелый баул. Троица все посматривала на него, у Романа был несколько озабоченный вид, словно опять что-то потерял. Благодаря этой случайной встрече в тесном купе до него прекрасно дошло, что в той кочегарке и его душонка стоила копейку, он мог бы сам потом кормить червей на сельском кладбище.

Да и Михаил при таком раскладе не стоял бы сейчас на этом перроне. Из-за своего характера и врожденной неуступчивости его бы, скорее всего, сгноило лагерное

начальство или «зачморили», как это у них называется, сами зеки. Зато тот шофер остался бы жив...

Тьфу, лучше не думать об этом! Все нормалек, с ним ничего непоправимого не случилось. Он будет теперь вольготно разъезжать вместе с сестрой по столице и окрестностям. Заскочат и в Апрелевку. Вон и сама сестра машет ему на ходу из толпы встречающих, которых уже пропустили к поезду. Да и эти братцы будут собирать в столице все доступные удовольствия, не особо мучаясь совестью. Вот только того бедного шофера, которому не повезло попасть под горячую руку, уже не воскресить...

Неожиданно Роман как-то виновато подошел к Михаилу и попытался схватить за плетеную ручку его баул с соленьями:

— Давай помогу!..

Но Михаил опередил его, не сумев скрыть брезгливости:

— Не надо! Я сам!..



Яков Шафран

(г. Тула)

САМАЯ БОЛЬШАЯ НАГРАДА



Член Академии российской литературы, Российского Союза писателей, Союза писателей и переводчиков при МГО СПР. Лауреат всероссийских литературных премий: им. Н. С. Лескова «Левша» и «Белуха» им. Г. Д. Гребениčkова, лауреат премии русских писателей Белоруссии им. Вениамина Блаженного. Его имя внесено в «Тульский биографический словарь. Новая реальность» и в биографический словарь «Писатели земли тульской». Заместитель главного редактора — ответственный секретарь литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори», главный редактор альманаха «Ковчег» журнала «Приокские зори», член редакционных советов: Вестника Академии российской литературы «Московский Парнас», музыкально-поэтического альманаха «На лирической волне» (Тула, журнал «Приокские зори») и музыкально-литературного альманаха «Тульская сторона».

Посвящается ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру ордена Красной Звезды, капитану медицинской службы, фронтовому хирургу Портман Доре Ефимовне



В штабе фронта, куда она прибыла вместе с несколькими другими молодыми людьми, царил суматоха — в ходе боевых действий шло хаотическое массовое отступление. Человек, который ими занимался, наскоро посмотрев документы, недолго думая, дал каждому направление — кому в полковой медпункт, кому в медсанбат дивизии, кому в специализированный госпиталь фронта, а кому в полевой подвижный госпиталь одной из армий. Ей выпал фронтовой эвакуационный госпиталь. На вопрос — как найти и добраться? — ответил: «Своим ходом, а “язык до Киева доведет”». Кому-то из них повезло — из штаба кто-то направлялся в нужном направлении. Ей же пришлось полагаться на свою целеустремленность. Через некоторое время она сидела в битком набитом кузове грузовика, ехавшего в нужном направлении.

...Наблюдая поля и перелески, она вспомнила, как буквально две недели тому назад ехала домой на каникулы из мединститута, четвертый курс которого окончила. Через несколько дней после приезда началась война. Немцы стремительно наступали,

и ее семья, как и многие жители местечка Ксаверова, стали готовиться к эвакуации. А кое-кто оставался, поддавшись на агитацию, якобы немцы — культурная нация, и во время Первой мировой войны они хорошо относились к евреям. Семья была небольшая: отец, мать и самая младшая сестренка — как стало известно впоследствии, два брата были призваны в действующую армию, а еще одна сестра — студентка первого курса мединститута — уехала вместе с институтом в эвакуацию, и им удалось выхлопотать одну телегу, которую они и нагрузили небольшим скарбом. Много с собой не брали — необходимые вещи, продукты на первое время и корм для лошади. Они думали, что врага далеко не пустят, поэтому-то не очень торопились... После войны она узнала, что далеко им уехать не удалось. Все, включая четырнадцатилетнюю девочку, погибли в Бабьем Яру... Она, не дожидаясь отъезда семьи, в начале июля направилась в райцентр Базар в военкомат, чтобы пойти врачом на фронт.

... Грузовик нагнал обоз из нескольких таких же грузовиков, и шофер, прокричав ей, что это ее госпиталь, просигналил и дал знать, чтобы они остановились. Она пересела в госпитальный грузовик, и обоз двинулся дальше.

Вдруг в небе появились вражеские самолеты, началась бомбежка. Машины остановились, все начали рассыпаться в стороны от дороги и укрываться в старых воронках, впадинах и канавах. Раздавались противные звуки падающих бомб, и вслед за ними — громовые взрывы, воющий свист осколков и лавинный шум падающей земли. По спине стали больно ударять комья, и дыхание перехватило резким и въедливым запахом отработанной взрывчатки. Облако пыли, стоявшее в воздухе, заволочило солнце. Одна машина с грузом была разбита прямым попаданием. Но вскоре враги улетели, видимо, наши отступающие фронтовые части были более важны для них как цель. Так произошло ее первое фронтовое крещение.

Фронт, наконец, немного стабилизировался, и ее госпиталью был дан приказ командования армией базироваться. Быстро разгрузились в близлежащей деревне, заняли свободные недалеко стоящие друг от друга дома. Выдалась минута между окончанием размещения и поступлением раненых, и она вышла на лужок. Совсем рядом стрекотал кузнечик, жужжали пчелы, как ни в чем не бывало цвели ромашки и цикорий, ветер шелестел в высокой, местами сожженной траве. В выси синело небо и плыли небольшие, с одной стороны с желтизной, с другой сероватые по краям облака. Было ощущение, что видела все это когда-то давно-давно.

А уже через пару минут начали принимать с фронта раненых. Запомнился первый раненый с оторванными ногами. Когда разбинтовали то, что осталось от ног, ей стало плохо. Вид ран, запах, стоны — она никогда такого не видела и не слышала — резекция трупов в институте, операции в операционных, где они проходили практику, ни в какое сравнение не шли с этим. Ее стало тошнить, помутилось сознание, почувствовав сильную слабость в ногах, едва не свалилась в обморок. Но усилием воли она подавила все это в себе. Медсестра, заметив, как она покачнулась, пристально посмотрела на нее, но увидела только напряженный взгляд, складку на переносице и бледный вспотевший лоб над маской.

Вскоре она научилась проводить первичную обработку ран и удалять осколки из мягких тканей, что теоретически, конечно, знала и в институте на практике видела, но в реальности все оказалось непросто. Кроме того она ассистировала при ампутациях конечностей и при серьезных операциях при ранениях грудной клетки и живота.

Она все время училась по захваченным с собою учебным книгам и у своих коллег, так как профессией военно-полевого хирурга они были вынуждены овладевать на ходу. Трудно приходилось в перевязочной, однако еще труднее — в операционной. Там не было возможности отлучиться даже по нужде. Во время боев, а они происходили часто, ибо немцы рвались и рвались вперед, были все время на ногах, не думая о пище и сне, трудились сутками, подремав часто тут же возле операционного стола. Часто и прилечь не было возможности. Вот и она иногда стояла после сложной

операции, вцепившись руками в край стола, покрытого белой скатертью, залитою словно красным вином, и качалась в дреме. А через несколько минут, очнувшись, бормотала: «Сестра, следующего!»

Прибывавших раненных кормили бутербродами и крепким чаем, после чего их мыли, затем обрабатывали раны, стригли и брили, в том числе и вокруг ран. Дефицит бинтов приводил к тому, что их с раненых разматывали, обеззараживали, далее стирали, гладили и стерилизовали в автоклаве.

Тяжелораненых, кого нельзя было транспортировать до их госпиталя, временно госпитализировали на дивизионных медпунктах. А потом уже перевозили к ним.

Но наступление врага продолжалось, поэтому все делалось быстро и практически без отдыха. Эвакуировав всех раненых, не теряя времени, в темпе собирались — по схеме складывали медоборудование, инструменты, медикаменты и прочее, а также собственные вещи, которых было всего ничего: смена белья, кое-что из одежды, туалетные принадлежности, записи, а у нее еще и учебники,— и перемещались на новую точку дислокации.

Отступление, отступление. От взглядов остающихся людей, от то и дело слышавшихся слов упрека вослед, а то и в лицо: «Все отступаете? Пора бы и приостановиться. Стыдно на вас глядеть. А вам на нас?..» — и без того угнетенное состояние еще более усиливалось. Позже она где-то прочитает такое высказывание: «Кто не пережил отступление, можно сказать, и не был на войне...» Однако это было не просто отступление, а отход после тяжелых боев. Во время одного такого боя их армия потеряла одну вторую своего состава и орудий.

Однажды они переправлялись через реку. Перед ними лежала спокойная зеркальная водная гладь. На том берегу рос красивый смешанный лес — тополя, вербы и осины, дубы и вязы, а за ним царственно возвышались ясени. Это так было похоже на природу родных мест!.. И она с ностальгией вспомнила, как они с одноклассниками, кто тогда был в Ксаверово, ездили 21 июня на автобусе в Киев на прогулку катером по Днепру с ночевкой у подружки, которая к тому времени жила там. Какая это была чудесная прогулка — город во всей красе, солнце, ясное голубое небо без единого облачка, белый бурлящий хвост за катером, блеск солнечных зайчиков на воде, песни, смех, разговоры, мечты!.. Они долго еще гуляли после по вечернему городу... А рано утром их разбудил страшный гром, затрещали стекла в окнах. Но это была не гроза, а бомбежка. Одна бомба упала недалеко от их дома. В этот же день они по радио слушали речь В. М. Молотова. Когда уезжали обратно, звучали сирены, на улицах было много людей. Многие продавали свои вещи. Когда она училась в медицинском институте и в мирное время иногда звучали сирены — это была учебная воздушная тревога. Но теперь все было всерьез.

В письме, которое сестренка прислала через неделю домой, в Ксаверово, она писала, что институт благополучно эвакуировался, и все уже устроилось. Институт для сестры, как и для нее, был вторым домом. Здесь они на рабфаке буквально приобрели грамотность, необходимую для учебы в институте. Сестра писала также, что программа занятий была изменена, упор делался на военно-полевой хирургии, эпидемиологии, гигиене и токсикологии. И всем, закончившим этот курс, досрочно присваивалась квалификация врача...

Однако предаваться воспоминаниям было некогда. Враг скучать не давал ни войнам, ни медикам. Многого насмотрелась она в госпитале. Был и такой случай: однажды сам, своим ходом, пришел тяжелораненый боец, удерживая рукой выпадающие внутренности...

Порой из-за временной проблемы с транспортом в госпитале оставалось очень много раненых. Мест в палатках и землянках катастрофически не хватало, поэтому тех, кто умирал, выносили и закапывали, а на их места тут же клали других раненных бойцов.

...Уже началось наступление, но не хватало медикаментов, перевязочных материалов и продуктов питания. Это в хорошую погоду, а в проливные дожди... В метели и снежные заносы, как сейчас, стало еще хуже. Стала наблюдаться как пролог тифа — завшивленность, порой от обилия этих насекомых рубашки раненых сами двигались. А затем не замедлил явиться и сам тиф, которым заболели и медики. Заболела и она. Сначала крепилась, невзирая на лихорадку, сутками оперировала, но силы человеческие не беспредельны, и в конечном итоге свалилась. Ни стоны, ни плача, ни укоризны, ни жалобы никто от нее не слышал. Сила воли была буквально написана на ее лице. Лежа на носилках, она бредила и в бреду все время твердила слова, которые говорит хирург или его ассистент за операционным столом. А в минуты прояснения спрашивала о том, сколько еще не обработанных бойцов осталось. Все ее мысли были в операционной. Наверное, поэтому ее удалось спасти. Болезнь отступила перед силой воли! Ведь действенных лекарств тогда от сыпного тифа не было — пенициллин появился только после 1943-го года. Из-за этого было очень много потерь среди воинского состава.

Уже вскоре после выздоровления она самостоятельно провела ампутацию ноги. Но более всего ей запомнился случай, когда она сделала все возможное и невозможное, чтобы спасти правую руку молодому парню, хотя все показания были к удалению. Пока они осматривали руку, он сильно, невыносимо стонал и все глядел на то, что они делают.

— Потерпи, солдат, ты должен выдержать, а лишнего ничего твоего не заберем,— видя его реакцию, мягко сказала она и, сдвинув брови на переносице, склонилась, сосредоточено осматривая разорванную донельзя осколками руку.

Раненый мученически промолвил:

— Доктор, останется рука-то? Как же я без руки?..

Она внимательно взглянула на него и спросила:

— Как тебя зовут?

— Сергей... — простонал он.

— Не волнуйся, Сережа, я же тебе сказала, мне не нужна твоя рука, у меня свои есть. Мы знаем свое дело, а ты терпи, не разговаривай. Ты же дисциплинированный боец!

— А можно, доктор, выпить мне немного дать?

Ему не ответили, но он почувствовал, как чья-то теплая рука взяла его за кисть здоровой руки, успокоение заструилось в него. Потом ему дали стакан водки...

Руку она ему спасла... Как же благодарил он потом ее!

Много еще было ежедневных, без выходных и отпусков, операций. Шло наступление, количество раненых значительно возросло, так как любое продвижение наших войск сопровождалось многочисленными жертвами. Потому госпиталь стал работать в еще более усиленном режиме.

Были случаи — им к этому не привыкать, — когда по десять — пятнадцать километров до места базирования шли, как говорится, на своих двоих, таща на себе все — палатки, медикаменты, перевязочные материалы и медицинские шины. А однажды, из последних сил добравшись до предназначенного населенного пункта, они увидели, что из нескольких сотен домов, которые в основном были сожжены, осталось всего менее десяти. И снова госпиталь разместился в палаточном городке...

...Природа брала свое. Однажды утром, весной сорок третьего, после восхода солнца, на пригорке у своей палатки она увидела появившуюся из земли первую травинку. Та пробилась сквозь слой гнилых осенних листьев, но капля воды согнула ее. Однако дунул ветер и сбросил каплю, и росток выпрямился и, маленький, неброский, трепетно и упорно потянулся к солнцу. Как это было близко ей, сродни ее одинокой душе...

Шло наступление, и тут она насмотрелась... Спаленные полностью деревни, и в

каждой — сотни убитых женщин, стариков и детей. И везде изувеченные трупы наших пленных солдат и изнасилованных женщин, девушек и девочек... Наиболее страшное зрелище поразило ее недалеко от одного населенного пункта, где на деревьях висели изуродованные туловища, с отрубленными руками и ногами, с ободранной кожей...

Виденное ею, наряду со слышанным и прочитанным в армейских и центральных газетах, рождало в ней огромную ненависть к врагу...

Чтобы успевать за нашими частями, стремящимися на запад, и не допускать перебоев в работе, небольшой коллектив госпиталя вынужден был разделиться на несколько отделений, каждое из которых организовывало собственный медпункт для оказания срочной и плановой медицинской помощи. Кроме того врач с несколькими медсестрами оставались с нетранспортабельными ранеными, в то время как остальные медики из этого отделения двигались дальше за наступающей армией. Те, кто оставались, организовывали эвакуацию тяжело раненых и затем снова соединялись со своим отделением. Так на расстоянии сотен километров госпиталь, в условиях очень динамичных боевых действий, оказывал самую приближенную к ним медицинскую помощь.

Продвигаться на запад медикам приходилось разными путями. Иногда на танках, что давало возможность не тащить на себе все необходимое для работы и личные вещи. Самое лучшее место на танке — сзади башни: удобно, не ощущается тряска, от мотора идет тепло. Зимой это особенно ценно. Однако, если враг обнаружит движение танков, может начаться бомбардировка. Однажды пришлось быстро спрыгивать и прятаться в придорожных канавах от немецких бомбардировщиков. Но немного погодя наши истребители атаковали и прогнали их. Один из вражеских самолетов с ураганным свистом и завыванием, весь в огне и дыму, снижаясь, пролетел над ними и ввали, врезавшись в землю, подорвался на собственном бомбовом запасе.

Госпиталь передвигался на запад и по налаженной железной дороге. Однако риск бомбардировок не уменьшался. Как-то они подверглись очень сильному нападению с воздуха. Поезд вынужден был остановиться, и все стали разбегаться в разных направлениях, прячась в естественных укрытиях. Когда опасность миновала и поезд прибыл на станцию, выяснилось, что дальше ехать невозможно, так как путь сильно поврежден — шедший перед ними поезд был полностью разбомблен практически у самой станции. Это был воинский состав с техникой, и вокруг валялись искореженные вагоны, рельсы, шпалы, орудия и части человеческих тел. Стоял сильный запах гари. А легкий ветерок шевелил траву, суша оставшиеся дождевые капли...

Но все же путь на запад был веселее, чем на восток.

...Вот наступила весна 1944-го года. С юга устремился теплый ветер, гнавший по небу рваные темные тучи. На дорогах начали таять замерзшие лужи, по обочинам стали проваливаться сугробы почернелого пористого снега. Летели стаи перелетных птиц.

Летом того же года наша армия, а с ней и госпиталь пересекли границу страны и вошли с боями в Польшу. Вначале население приветливо встречало наших бойцов. Поляки приносили в госпиталь носильные вещи, полотенца, постельное белье, одежду, фрукты и ягоды. Женщины предлагали свою помощь в уходе за ранеными. Но стала активно работать антисоветская пропаганда членов прозападной польской армии и польских националистических воинских соединений. И благорасположение поляков изменилось с точностью до наоборот.

Однако наши войска, словно поезд, развивший неистовую скорость, стремительно двигались на запад, и вот настал момент, когда они ворвались на территорию Германии. Города, через которые после упорных сражений армии передвигался их госпиталь, выглядели набором угрюмых останков разбомбленных домов с темными впадинами вместо окон, уцелевших зданий с наглухо закрытыми подъездами и белыми простынями на балконах и безлюдных улиц с обвисшими электропроводами,

на которых то тут, то там стояли горелые танки и лежали завалы кирпичей. Вдали была слышна артиллерийская канонада, там еще кипело сражение.

Она увидела безлюдные сельские поселения, в которых на улицах мычали голодные коровы, рылись в земле свиньи и куры. В городке, куда их определили для развешивания госпиталя, в домах не было потушено электрическое освещение, и вообще создавалось впечатление, что люди только что наспех покинули свои жилища. Как потом оказалось, они или убежали, или прятались от страха расплаты.

Этой весной на немецкой территории сражения были очень активны, что приводило к немалым человеческим жертвам и, естественно, к большому и непрерывному потоку раненых.

Но вот, после взятия Берлина, наступило затишье. Их госпиталь остановился в небольшом городке. Стоял солнечный, по-весеннему нежный и ласковый май. В высоком голубом небе плавно плыли белые облака, кругом ярко зеленела трава, пахло нагретой землей и благоухала сирень. Было впечатление необычайного праздника.

Медики, как, видимо, и все в армейских подразделениях в эти дни, отсыпались и отъедались, мылись и стирали одежду и белье. Отдохнув, они не переставали удивляться чистым комнатам и кухням, туалетам и ванным в разноцветном кафеле и зеркалах, вещам, аккуратно разложенным по полочкам, непривычно большим кроватям, толстым перинам, мягким подушкам и высококачественному белоснежному постельному белью.

Вокруг в эти майские дни стояла непривычная тишина, от которой тихо звенело в ушах, и она буквально пьянила людей, не привыкших к ней. В солнечном воздухе, под чистой синевой неба, плавали запахи весенней свежести, смолистых сосен, душистой ранней сирени и цветущих яблонь и... добытого немецкого туалетного мыла. А в ночи к этому очарованию еще добавлялась висевшая в синем небе красивая луна. Все это рождало радостную беззаботность.

Общий настрой был, конечно, величавый, царило победное воодушевление, великая радость от достигнутой цели, к которой шли столько времени через потери, кровь, гибель боевых товарищей, близких, ни в чем не повинных людей, сожженные города, деревни, родные дома; великая радость мирного времени. Царил оптимизм, вера в возрождение жизни во всех ее аспектах — личных и общественных.

И было очень приятно, когда одна за другой пришли награды. Вначале орден Красной Звезды. В наградном листе было написано: «Капитан мед. сл., нач. медотделения эвакогоспиталя 2734 1 УкрФ, канд. ВКП (б) ... постановкой эвакороботы обеспечивала бесперебойную эвакуацию раненых без единого дефекта. В 1945 г. в трудных зимних условиях эвакуировала 3037 человек тяжелораненых. Помимо основной... работы ведет лечебно-хирургическую работу. Сама обслуживает 150—200 человек раненых. Работая в госпитале в течение всей Отечественной войны, показала себя как преданный Родине офицер. Самоотверженно обеспечивает выполнение задач по лечебно-эвакуационной работе...» Потом пришла медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и орден Отечественной войны II степени.

Но самой большой наградой были тысячи спасенных жизней. А благодарная улыбка того парня с сохраненной рукой и его слова: «Спасибо, доктор!» сохранились в памяти на всю жизнь.

Окончила она службу 25-го декабря 1945-го года.

Рассказ написан по старым записям.



Инна Часевич

(г. Саров)



ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ

Печаталась в газетах «Грань», «Литературная Россия», «Новый город», «Православный Саров», «Школа», в журналах «Земляки», «Нижний Новгород», «Нижегородская провинция», «Санкт-Петербургская Искорка», «Российский колокол», «Великороссь», сборниках «Эклеры», «Помним», «22 июня», «Вдохновение». Призер 4 международного литературного конкурса «Лохматый друг», дипломант 1 Международного литературного конкурса «Линия фронта», сценарист анимационных фильмов «Первоначальник Иоанн» и «Ефрем. Строитель» (г. Саров), снятых Православной гимназией по гранту Президента РФ.

ГЛУБОЧИЦА

На улице послышались грубые окрики полицейев, отрывистая немецкая речь и лай собак. Фаина, отодвинув занавеску, выглянула в окно.

— Мам, гляди-ка, немцы по всем избам шарят, всех их домов гонят. Даже деда Митрича вытолкали на улицу.

Дед Митрич, самый старей в их селе, ноги лишился еще в гражданскую, с тех пор ковылял на двух костылях, «прыгачил», как говорила веселая хохотушка Райка. Впрочем, она это делала не со злостью, по молодости чего только не ляпнешь, никто же не думает, что словами обидеть может. А Райка вообще на язык всегда скорая да острая, только сейчас она шла вместе со всеми, выгнанными из своих домов, побледневшая и как будто резко посерьезневшая.

— Мам, а куда это их всех? — не унималась Фая, придерживая перед лицом занавеску и осторожно выглядывая в маленькую щелку между тканью и простенком. Окна в избе были большие, их еще Фаинин дед вставлял, хороший стекольщик был, все село к нему ходило, считай, каждый дом его окнами на улицу смотрел.

— Уйди, уйди, от греха! Не высовывайся, авось мимо пройдут,— Дарья беспокойно заметалась по избе, а потом резко, остановившись, откинула крышку подпола.

— Полезай! — скомандовала она дочери.

— Зачем? Не хочу! — отшатнулась та.— Я не буду больше в окошко глядеть. Не хочу в подпол, там темно.

— Лезь, лезь скорей! И нос не высовывай, чтоб не случилось. Меня заберут, ночью выберешься, и в лес ступай, там партизан найдешь.

— Куда заберут? — побледнела Фаина и бросилась к матери.

— Чует мое сердце, не к добру все это, наши-то им третьего дня дали жару, вон как поезд-то ихний пылал. Вот они, поди, и озверели. Давай, лезь! Хоть ты живой будешь.

— Мама, мамочка, я с тобой хочу,— Фаина заплакала и прижалась к матери,— полезли вместе, нас не найдут.

— Найдут, милая, найдут. Увидят, что дома никого нет, искать начнут. Лезь, лезь, милая, скорей, скорей, ночью убегнешь.

— Я не хочу без тебя, мамочка, - Фаина отчаянно мотала головой, еще крепче обнимая мать.

В это время громко скрипнула калитка. Дарья изо всех сил толкала дочь в подпол, одновременно сиюсь убраться руки Фаины, намертво вцепившиеся в материну кофту.

— Скорей, ну, скорей же!

В сенях загрохотали сапоги, мать уронила крышку подпола и попыталась загородить собой дочку. Ввалившиеся в избу немецкие солдаты, показывая на двор, громко скомандовали.

— Вон! Выход! Матка, вон! Шнеллер, шнеллер!

Рыжеволосый великан, схватив за руку онемевшую Дарью, вытолкнул ее в дверь. Второй солдат выволокнул упирающуюся Фаину и пинком спустил ее по ступенькам. Дарья охнула, бросилась к упавшей дочери, сгребла ее в охапку, и, поставив на землю, прижала к себе.

— Шнеллер, шнеллер! — рыжий детина замахнулся прикладом, Дарья, закрыв собой дочь, повела ее мелкими шажками со двора. По всей улице, подгоняемые окриками и толкаемые в спину прикладами, почти бежали сельчане. Сзади ковыляла бабка Нюра, громко стучавшая клюкой, изо всех сил старавшаяся поспеть за всеми.

Людской поток стремительно приближался к колхозному амбару, стоящему почти на окраине Глубочицы, рядом с большим и таким плодovitым лесом. Сколько в нем всегда черники урождалось, на все село хватало! Еще и гостям из Себежа оставалось — если к кому родные из райцентра приезжали, сразу в лес — за «добычей» шли. Тут тебе и черника, и малина, и грибы. А озера какие! Глубокие, прохладные, вода в них голубая-голубая, прозрачная, кинешь иголку и смотришь, как она вниз опускается...А на дне камушки, каждый видать. Красота в этих местах необыкновенная, нигде такой нет.

У открытых дверей амбара стояли четверо солдат. Тех, кто упирался, они заталкивали внутрь, били прикладами по головам, спинам, рукам. Били без разбора и малышей, и стариков. Бабку Нюру пихнули так, что она упала прямо на оказавшуюся перед нею Дарью, и они обе рухнули вниз, не успев войти в дверь. Солдаты, схватив обеих женщин, небрежно поставили их на землю и грубо втолкнули внутрь.

В амбаре было все село. Дети плакали, женщины молились. Митрич переминался на своих костылях, вздыхая и что-то тихо бормоча под нос. Бабка Нюра беспокойно оглядывалась кругом, сама себе задавая бесконечные вопросы без ответов.

— Родненькие, нас зачем сюда всех то? В Ерманию ихню забирать будут? А я-то как же? Я куда ж с клюкой-то своей? А? Родненькие?

Дарья обнимала дрожащую дочь, слезы капали на старую застиранную кофту, а она, не замечая их, гладила Фаю по худой спине, приговаривая шепотом:

— Что ж я, дура, тебя не спрятала? Что ж я наделала, проклятухая? Что ж теперь будет-то? Что ж эти злыдни задумали?

Женщина рядом вдруг зашлась в крике.

— Убьют! Убьют всех! Гореть все будем! Гореть! И дитяти! Все!

Митрич, неловко повернувшись на своих костылях, закричал высоким старческим голосом, пытаясь перекрыть начавшийся со всех сторон вой:

— Цыц! Чего голосишь, дура?! А вы чего закудахтали? Одна несет невесть что, а вы выть вздумали?!

— А зачем нас сюда всех-то? — не унималась баба с растрепанными волосами.— Зачем? Соседей-то наших сожгли! Да-аа, сожгли! Всех! Сама слыхала. Теперь нас жечь будут! За партизан. Господи! Я жить хочу, жи-ии-итть...

Рядом опять заголосили. Стоящие у выхода начали отчаянно колотить в дверь.

— Дитев! Дитев выпустите, изверги! Дитев пожалейте!

Из-за запертой двери послышались лающие окрики, в деревянные стрехи под самой крышей начали впиваться пули. Народ отхлынул вглубь амбара, началась давка, дети закричали, женщины забились в рыданиях. Бабка Ньюра, потрясая клюкой, тоненько взвизгивала:

— Проклятые, ироды! Чтоб детев ваших холера забрала! Чтоб вас всех лихоманка свалила, чтоб обезножили все!

Митрич пытался уговорить народ, но его никто не слушал. Агония страха захватила разум, женщины пытались протолкнуть вглубь своих детей, отталкивая чужих, вспыхнули драки. Били друг друга с остервенением, словно вымещая на других ужас предстоящей смерти.

Неожиданно из самой сердцевины людской толпы раздалось: «Расцветали яблоны и груши». Райка в каком-то безумии полукричала, полувывла хорошо знакомую песню. Все замолчали. В резко наступившей тишине явственнее стали слышны звуки с улицы. Раздалось ворчание моторов, один за другим заводились и куда-то уезжали мотоциклы, голоса немцев становились все тише. Наконец, наступила странная и оттого страшная тишина. В амбаре молчали, даже дети перестали плакать. Одна Райка сорванным голосом попыталась завести последний куплет, но на нее так зашикали, что и она перестала петь и стояла, переводя удивленный взгляд с одного лица на другое, пока ее глаза не приобрели былую осмысленность.

— Изверги убегли куда-то,— первой нарушила молчание Рая.

— Послышать надо, может, того, бензин льют? — спросил прошедший гражданскую Митрич.

Стоявшие у дверей прильнули к стене, напряженно вслушиваясь в каждый шорох с «воли».

— Не слышать, вроде...— нерешительно протянула Дарья.

Баба с растрепанными волосами недовольно шикнула:

— Вроде? Или не слышать?

— Не слышать... Вроде...— так же нерешительно проговорила Дарья.

Баба, оттолкнув ее, сама приникла к двери. Снаружи амбара было так тихо, что, казалось, будто слышно, как плещется вода в Белом озере.

— Супостатов рядом нету,— наконец сделала она заключение и отошла от двери, растерянно поглядывая на сельчан. Все потрясенно молчали, не понимая, что это может означать. Неожиданно заскрежетал замок и дверь открылась. Все отшатнулись, баба со спутанными волосами чуть не упала на стоящую рядом Дарью. В проеме двери появился пожилой немецкий солдат, который обычно сидел во дворе дома, где жил Митрич, и выводил на губной гармошке грустную протяжную мелодию. Частенько он, стараясь не попадаться на глаза своим товарищам, украдкой совал пробегавшим мимо детишкам то кусок хлеба, то банку консервов, то печенюшку. — Вы идти на воля. Меня связать. У мене киндер, трое. Я не хотеть убивать дети. Идти. Все идти. Шнеллер, бистро, бистро уходить.

Он протянул вперед руки, показывая, как их надо связать. В амбаре не шевелились, таким нереальным показалось спасение, что никто не мог в него верить.

— Они уехать, ждять. Гауптман ждять. Вы бежать, бистро бежать.

Первым вышел из оцепенения Митрич.

— Бабы, выходим, быстро, порядком выходим, не давим дружку, выходим, а ну, шнель! — скомандовал старик и все, словно очнувшись от этих слов, подхватили детей и поспешили к выходу. На этот раз не было никаких драк, наоборот, бездетные женщины брали на руки чужих малышей. Две покрепче взяли под руки бабку Ньюру и почти бегом понесли ее на улицу.

Дарья дрожащими руками вязала руки немца, рядом прыгала Фая, подгоняя мать. Солдат кивнул головой, Дарья, таща за руку дочь, побежала догонять сельчан, уже

почти достигших опушки. У самого леса она последний раз оглянулась на родное село, такое красивое этим летним утром. У открытых дверей амбара на земле сидел связанный немец. Словно почувствовав на себе ее взгляд, он поднял голову и кивнул, хотя вряд ли уже мог кого-то разглядеть. Фая дернула мать за край кофты, и, больше не оглядываясь, они устремились вглубь леса.

КАТЮША

Катюшка замерла, свернувшись комочком, и опустила в самый низ живота. Галина пыталась сдерживать дыхание, сбившееся от быстрой ходьбы, чтобы ни малейшим звуком не выдать своего присутствия. Совсем близко от нее остановился полицейский, совершавший обычный ежевечерний обход окраинных улиц их маленького, скрытого в зелени садов Пирятина. Весна в этих краях начиналась рано и уже в апреле все деревья покрылись зеленой шапкой молодой листвы. Почему-то сегодня Никола, самый злобный из всех земляков, переметнувшись на сторону немцев, не торопился идти дальше по привычному маршруту. Он стоял, всматриваясь и вслушиваясь в ясную украинскую ночь, рядом с тем местом, где притаилась Галя. Тянулись тревожные минуты ожидания, а Никола все стоял и смотрел в темноту. Галина, не выдержав напряжения, прикрыла глаза, судорожно сглатывая подступивший к горлу ком. Постояв с закрытыми глазами несколько томительных мгновений, она заставила себя посмотреть туда, где стоял полицейский. Николы не было. Переведя дух, Галя решила осторожно двинуться дальше, но в это время кто-то толкнул ее в плечо. Она резко повернулась и увидела прямо перед собой ухмыляющегося Николу.

— Попалась, курва партизанская? — приглядевшись внимательно и признав в незнакомке Галину, он сплюнул сквозь зубы и злобно добавил, — ишь, брюхатая, а туда же. Сдохнешь вместе со своим отродьем.

Больно вцепившись в плечо молодой женщины, полицейский поволок ее в сторону комендатуры и втолкнул в сторожку, служившую фашистам тюрьмой.

— Посидишь до утра. Придут хозяева, они с тобой разберутся, — грязно выругавшись, Никола закрыл дверь, задвинув огромный засов.

Галина начала осторожно, на ощупь пытаться дойти до угла, и, упершись в него, осторожно опустилась вниз, попав на кучу прошлогодней соломы. Катюшка беспокойно зашвырялась и Галина, поглаживая свой огромный живот, вполголоса заговорила с дочкой.

— Прости, доченька, прости, что ты из-за меня в лапах фашистов оказалась, — Галина, закусив губу, постаралась отогнать непрошенные слезы, — нам с тобой нельзя раскисать, нельзя... струсим — сколько людей погубим.

Она шептала Катюше ласковые слова и пела песни, пока сама не впала в тяжелый сон, похожий на забытье.

Почему-то Галина с самого начала знала, что у нее будет дочка. Имя они с Володей сразу придумали — Катюша. Мужа расстреляли в первые дни оккупации, ему всего восемнадцать было. Рано они поженились, совсем ведь молоденькие были, а что поделаешь — любовь, да еще какая. Как только в родной город пришли фашисты, Галя, хотя уже знала, что беременна, тут же нашла тех, кто, как и она, мечтал бороться с врагом. И растущий с каждым днем живот ей партизанить не мешал. Конечно, взрывчатку под рельсы она не закладывала, «охоту» на полицаяев не вела, просто ходила из городка в лес на заветную поляну и передавала нашим сведения о немцах, кое-какие продукты и с огромным трудом доставаемые медикаменты. Героиней себя не считала, просто упорно делала свое маленькое дело, незаметно приближая общую победу. А то, что она рано или поздно обязательно будет, Галина не сомневалась. Конспирация была хорошая, практически никто знал, что очень молодая женщина с большим животом не за хвостом в лес ходит, а к партизанам.

С мыслью, кто мог выдать и что палицай про нее знает, она проснулась, когда едва забрезжил рассвет. Лучи апрельского солнца настойчиво пробивались сквозь дощатую дверь тюрьмы. Начинался новый день, который таил в себе страх неизбежной расправы.

Во время допроса Галина больше всего боялась, что будут бить по животу, и ее Катюшка умрет, так и не родившись. В этот день ее несколько раз ударили по животу, хоть она изо всех сил пыталась его прикрыть, но в основном били по спине и ногам. Зверствовать так, чтобы ребенок погиб, не стали — боялись, что мать умом тронется, а из «дурочки» сведений не вытащить. Через два часа допроса, на котором она все время твердила, что никаких партизан отродясь не видывала и кто они такие знать не знает, ее опять отвели в сторожку, вернее, приволокли и бросили на земляной пол. Дверь захлопнулась.

Потянулись долгие часы заточения. Галя слышала отрывистую, лающую речь и каждый раз замирала, когда голоса немцев раздавались совсем рядом. За стенами сторожки шла обычная жизнь, из которой она чьим-то предательством была вырвана, может быть, навсегда. Надежды, что ее отпустят живой, не было — немало казней партизан видел их любимый Пирятин за время оккупации. Некоторые тела висели неделями, для острастки живых.

Тяжелые раздумья прервал тихий голос, звавший ее по имени: «Галина». Голос «шел» из-за закрытой двери. Женщина, с трудом поднявшись с прелой соломы, осторожно поковыляла к выходу.

— Галина, я хочу вам помочь, — послышалось через закрытую дверь.

— Вы кто? — спросила Галя, напряженно вслушиваясь в еле слышные слова и одновременно пытаясь узнать голос.

— Митя, я здесь убираюсь. Я слышал, как вас по имени называли.

В это время на улице послышались голоса, среди которых выделялся визгливый голос Николы.

— Шевелись! Полчаса на одном месте метешь, комсомол недобитый, к стенке бы тебя, гада, поставить. Шевелись, кому сказано, кто все остальное убирать будет?

Послышался удар, смех полица, потом все смолкло. Галина отпрянула от двери. Через несколько минут опять послышался голос Мити.

— Ушли гады. Я к вечеру вас выпущу. Они за мной не больно следят. Я бежать хочу.

Галина молчала, радость, смешанная с подозрением, мешала говорить.

— Я наш, меня в плен взяли, когда без сознания был. Отошел малость, вот меня тут убирать заставили. Второй день во двор гоняют.

Галя все еще не решалась поверить в скорое освобождение:

— Тебя убьют, если узнают.

— Я бежать хочу.

Раздался резкий окрик, видно, немцам не понравилось, что пленный крутится около сторожки. Митя тут же нарочито громко зашаркал метлой. Постепенно скрежещущий звук становился все тише, видимо, Митя пошел дальше убирать двор комендатуры. Галя стояла в углу, мысли о предстоящем побеге не давали сесть и постараться забыться спасительным сном. «Только бы вечером на допрос не вызвали... Хотя, немцы рабочее время строго соблюдают, о здоровье своем фашистском заботятся». Раздражающая всех немецкая педантичность теперь была Галине на руку.

В сторожке, наконец, стемнело, видимо, на улице наступил вечер. Постепенно дневные звуки затихли, уступив место тревожной тишине ночи. Мучительно хотелось есть и пить. Фашистское милосердие не было столь всеобъемлющим, чтобы дать узнице хотя бы кружку воды и кусок хлеба. Катюшка швырялась изо всех сил, сознание Галины мутилось от переживаний и голода, к которым прибавились тянущие боли внизу живота. Наверное, поэтому она не сразу услышала тихий голос,

звавший ее по имени. Прислушавшись, Галя узнала голос Мити, прозвучавший для нее долгожданной музыкой свободы.

Осторожно двигаясь почти в полной темноте, через несколько минут она оказалась у запертой двери. Митя возился с запором, стараясь открыть его без малейшего скрежета. Галя почти перестала дышать, даже Катюшка замерла в ожидании. Минуты тянулись бесконечно долго. Галя уже начала терять надежду, как вдруг дверь в сторожку тихонько приоткрылась. Женщина осторожно, насколько это было возможно, протиснулась в небольшую щель. Митя — невысокий, совсем молоденький парнишка в полинялой военной форме, с забинтованной грязной тряпкой головой, сунул ей в руки какой-то сверток.

— Хлеб, я вам от обеда оставил.

— Спасибо тебе! — Галя обняла лейтенанта, и, тихонько прошептав: «береги себя», тут же поспешила в сторону хутора, где жила ее троюродная тетка. Через несколько мгновений Галя исчезла в темноте, слившись с деревьями, коих в родном Пирятине всегда было много.

Когда под утро Галя добралась до хутора, живот болел так нестерпимо, что она была вынуждена последние метры идти, согнувшись почти пополам. Выглянувшая на ее тихий стук тетка Матрена сразу поняла: роды начинаются. Она не стала ни удивляться неожиданному появлению племянницы, ни расспрашивать, что произошло. Заведя Галину в избу и устроив ее на лавке, Матрена тут же метнулась за чистым бельем. Опыт приема родов у коров у нее, конечно, был, а вот у людей еще не привелось, однако выхода другого не было. Матрена вскипятила воды, порвала на тряпки старую простыню и встала около Галины.

Катюша, как истинная партизанка, появилась на свет быстро и без крика, но, получив шлепок по мягкому месту, тут же открыла беззубый рот, огласив избу громким воплем. Три дня провела молодая мать с дочкой на хуторе. Дальше оставаться здесь было опасно, меньше всего хотела Галя навлечь беду на теткин дом. Хоть она и троюродная, а все равно прознать про нее могут, кто-то же саму Галину выдал. Но куда податься с дочкой, она тоже не представляла. В конце концов решили, что она пойдет искать партизан, а Матрена будет приглядывать за новорожденной.

Поцеловав на прощание Катюшку, Галя медленно двинулась по тропинке. Она не боялась заблудиться в хорошо знакомом лесу,— сколько здесь с детства было тропок исхожено! Одно тревожило только, где найти «своих», ведь она встречалась с партизанами на «заветной» поляне, а где находится отряд, понятия не имела. Проблуждав полдня, уставшая и измученная Галя опустилась на землю и неожиданно заснула, прислонившись к дереву.

И тут ослабленный тревогами и родами организм сыграл с ней злую шутку. Она заснула так крепко, что не услышала, как немцы окружали поляну...

В этот раз с молодой женщиной церемониться не стали. Избив до полусмерти, кинули в ту самую сторожку, из которой она ушла в спасительную ночь несколько дней назад. Очнувшись на земляном полу, Галя отчаянно молилась: пусть ее убьют, лишь бы Катюшка выжила, лишь бы не прознали про Матренин хутор, лишь бы тетка вырастила девочку.

Утром за ней пришли. С трудом поднявшись после вчерашних побоев, толкаемая в спину ненавистным Николой, Галя побрела в сторону комендатуры. Здесь на заднем дворе обычно проходили расстрелы. Встав у выщербленной пулями и залитой кровью стены, она почему-то вспомнила Володю, представив его улыбающимся, в светлой рубашке с вышитым воротом, такого любимого и родного... Потом перед нею мелькнуло маленькое сморщенное личико Катюшки. Подавив подступающие слезы, она в упор посмотрела на ухмыляющегося Николу, который от ее взгляда сразу перестал улыбаться и суетливо отскочил в сторону.

Тишину апрельского утра нарушил свист автоматной очереди, а уже через не-

сколько секунду вокруг Галины, вжавшейся в стену, свистели пули, рвались снаряды, раздавались крики раненых немцев. Застыв от ужаса, она смотрела, как медленно падал на землю подкошенный автоматной очередью Никола. Спиной, нестерпимо горевшей от жутких побоев, она почувствовала, как зашаталось и начало рушиться здание комендатуры. Только одна стена, у которой все еще стояла Галя, оставалась неподвижной. Она то и защитила женщину от партизанских пуль и снарядов. Сбросив оцепенение, Галина, забыв о боли в избитом теле, бросилась бежать в сторону леса. Она не сразу поняла, что пуля, отрекошетив от стены, у которой несколько мгновений назад стояла молодая женщина, впиалась ей в спину. Галя от резкой боли рухнула на землю. До спасительного леса оставалось несколько шагов...

Пришла в себя она уже в землянке. На скамейке у входа сидела незнакомая женщина. Услышав Галин стон, она тут же обернулась.

— Ну, что героиня, очнулась? Твоему Ангелу-хранителю позавидовать можно.

Галя хотела возразить, что их не бывает, но, вспомнив, как сама несколько дней назад молилась, лежа на гнилой соломе в сторожке, промолчала.

Молодость — лучшая помощь выздоравливающему организму. Галя уже через неделю смогла ходить по всему лагерю и даже умудрилась помогать на кухне. Здесь она встретила Митю, он сумел-таки убежать во время того самого партизанского налета и уйти в отряд. А еще через неделю мать забрала с хутора свою Катюшку. Степан, выдавший Галину за мешок муки, после гибели Николы поостерегся донести на Матрену, а немцам из-за налета было не до поисков партизанского дитя.

КОЛЕЧКО

Маруся покрикивала на лошадь, шарахавшуюся от каждого грохота далекой ка-нонады, заставляя ее двигаться дальше.

— Но, кому говорят, бестолковая! Но! До завтра, что ли, шагать будем?

Марусе было жутко страшно, вдруг какой шальной снаряд сюда залетит, но ехать надо, вот она и понукала, и покрикивала на родную Звездочку. Мамка с утра наказала:

— Давай, Манька, садись на телегу и дуй до мельницы. В доме муки ни крохи нет, что есть будем?

Маруся натянула любимое ситцевое платье в синий цветочек, надела отцовскую фуфайку, материны сапоги, повязала на голову белый платок и вывела со двора Звездочку. Ветер отовсюду наносил запах печеной картошки — в соседних селах, разбомбленных немецкими самолетами, горели избы, в подполах которых тлела картошка, заботливо приготовленная на зиму. Мать с Марусей загодя выкопали в огороде большую яму и сложили туда два мешка зерна — никто не знал, что их дальше ждет, запасы лишними не будут. Вчера в доме кончилась последняя мука, а ртов-то много — мал мала меньше. Маруся была самая старшая из всей большой семьи, «мелким» и за мамку, и за няньку приходилась. Как только увидит, что мать опять с животом ходит, сразу в слезы — это ж ей нянчиться! Маруся и уроки с младшими «делала» — привяжет к ноге веревку от люльки, на печку заберется, книжку читает или в тетрадке пишет, а сама ногой качает. Попробуй не покачай, мать хворостинной отделает. Все подружки гулять идут, а Маруся с младшими возится. И ведь любила их, как мать родная, другая б возненавидела, а она нет, и покормит, и песню споет, и утешит, если беда у них какая детская приключится. Они ее тоже любят, так бы и не отходили от старшей целый день, что Валька, что Нинка, что Зинка, что Сашко — самый маленький.

Вдоль дороги тянулись разбитые дома, срезанные березки валялись рядом, распластав по земле засыхающую листву, воронки от снарядов зияли, как беззубые кричащие рты. Марусе стало страшно. В ее родное Носково война еще не дошла, рядом собирала свою страшную жертву. Отец ушел добровольцем еще в июле. Как мать ни плакала,

как ни голосила, собрал вещь-мешок и подался к военкомату. Маруся у околицы махала белым платочком, до тех пор, пока были видны носковские мужики, уходившие нестройными рядами по пыльной дороге. Дома она собралась было покричать, порыдать, как взрослая по отцу, только когда вернулась, увидела мелких, от голода плачущих, стянула с плеч платок, посеревший от июльской пыли, и занялась привычным делом: покормить-помыть-утешить. Мать целыми днями в колхозе пропадала, продовольствие для фронта готовила, а Маруся по хозяйству суежилась.

Вот и сегодня кому как не ей на мельницу ехать было? Хоть и далеко, и страшно-вато одной девчонке, всего-то ей только-только четырнадцать исполнилось, да еще и ростиком она совсем не вышла, младшие ее уже перегнали, только выхода другого не было. Два дня в очереди ждала, такая у мельницы уйма телег скопилась, со всех ближних деревень народ собрался. А куда деваться? Пришлось ждать. Мать, правда, ее не бросила голодать, отпросилась у председателя, взяла колхозную лошадь, привезла своей старшей молока и картошки — все, что в доме было, и тут же в обратный путь подалась. Как муку к следующему вечеру смололи, тут другая задача нарисовалась — как этот мешок на телегу взгромоздить? Ни ростом, ни силой Маруся не вышла. Но мир-то не без добрых людей, две бабы незнакомые с соседних телег соскочили, так втроем и погрузили муку...

Через два месяца отец пропал. Нет, извещений никаких не приходило, просто письма писать перестал. Неделю нет, две, три... Клавдия в военкомат несколько раз ходила, там только руками разводили: в списках погибших, пропавших без вести, раненых — нет такого. Был человек, и нету! Клава совсем извелась, на младших кричала, Марусю загоняла, есть-пить не могла.

Бабы, с которыми каждый день на ферме с утра до вечера пропадала, и те понять не могли, что такое, почему совсем на себя Клавдюшка не похожа стала. А выспросив, научили ее, что сделать, как про Сашко-старшего узнать. В тот вечер домой Клава не шла, а летела. Вбежав в избу и едва скинув платок и сапоги, скомандовала: — Манька, полезай на печку и гляди. В два глаза гляди!

Маруся послушно полезла, не понимая, куда и зачем смотреть, но спрашивать у матери поостереглась.

Клавдия тем временем села за стол, поставила на него зеркало, прислонила к стакану с водой, потом сняла с пальца обручальное колечко и положила так, чтобы видеть его отражение. Валька попыталась влезть матери на колени, но Клавдия так громко на нее шикнула, что мелкая кубарем откатилась в угол и обиженно устроилась на лавке. Нина, наблюдавшая красноречивую картинку, к столу подходить не стала, а тихонько подсев к сестре с недоумением поглядывала на мать. Вера с Сашко-младшим уже давно сопели на печке.

— Гляди, Маня, гляди со вниманием, прям на зеркало гляди в то место, где кольцо мое видать. Что разглядишь, скажешь.

Маруся, хоть и не понимала, к чему мать все это затеяла, во все глаза принялась вглядываться в отражение. Потянулись молчаливые минуты, нарушаемые лишь тихим похрапыванием младших сестер, задремавших на лавке в углу. Но, как не старалась Маруся, ничего она в зеркале не увидела. Немного подождяв, мать требовательно спросила:

— Ну? Мань, чего молчишь? Чего видишь-то? Говори, не тяни душу.

— Ничего не вижу...

— Да как так-то? Бабы сказывали — верный способ! Ты, може, не туда глядишь-то?

— Туда...

— Гляди, гляди, шибче гляди! Хозяина нашего видать должно...

Марусе очень хотелось узнать, что случилось с отцом, и она снова начала напряженно всматриваться в то место, где отражалось материнское колечко. Через не-

сколько томительных минут она вдруг ясно увидела какую-то непонятную фигуру в большом тулупе, с винтовкой за плечами, потом этот человек начал «расти» и Мария отчетливо рассмотрела лицо отца в какой-то непривычной островерхой шапке. Он что-то кому-то говорил, но слов не было слышно, девочка попыталась прочесть по губам, но не смогла и закричала, что есть мочи:

— Папка, папка!

Видение исчезло. От неожиданного крика проснулись младшие, Сашка заплакал, Валька с Нинкой подскочили на лавке и, хлопая осоловевшими глазами, силились понять, что произошло. Мать подбежала к печке.

— Видала? Что видала-то? Ну?

Маруся, подхватив на руки самого маленького, торопливо рассказывала Клавдии, нетерпеливо переминающейся у печи:

— Жив, тятка, жив. Он с винтовкой стоит, в тулупе, точь, как евойный, что у нас в снях висит, а на голове шапка треугольная.

— Какая шапка? — не поняла мать.

— Ну, такая, — и она подняла руки над головой, сложив их домиком.

— Не раненый? Не в крови?

— Не! Стоит с винтовкой, живехонький!

После этого вечера Клавдия немного успокоилась, перестала выть по мужу как по мертвому. Марусю закрутил ворох дел, и она постепенно забыла о гадании. Утром по хозяйству оставалась, днем бежала в поле, а ночью, когда бабы уходили по домам, ребягня, впрягшись вместо лошади в жернов, молола муку или вручную веяла овес, очищая его от мякины. Когда спали, когда ели — да Бог знает.

Весной сорок пятого от отца «долетела» до родного Носкова весточка, а еще через пару недель пришло письмо из госпиталя, что он тяжело ранен под Кенигсбергом.

Летом Маруся поехала забирать отца с поезда. Ради героя-фронтовика, у которого взрывом оторвало ногу, председатель дал свою лошадь. Пока тряслись в старой телеге, Маруся не удержалась и спросила, где он столько военных лет был, пока не попал в бой под старинный город Кенигсберг.

— На границе, дочка, был, на китайской. Охранял.

— Тять, а на голове у тебя что было?

Отец подивился странному вопросу.

— Шапка, буденовкой называется. Такие в гражданскую носили. А чего ты вдруг спросила про шапку-то?

Маруся улыбнулась и, немного помолчав, принялась рассказывать отцу про младших, которые его, поди, сейчас и не вспомнят...

